



АШЕР БАРАШ

ИСТОРИЧЕСКИЕ НОВЕЛЛЫ



АШЕР БАРАШ • ИСТОРИЧЕСКИЕ НОВЕЛЛЫ

Ашер Бараш
ИСТОРИЧЕСКИЕ
НОВЕЛЛЫ

עבריה וצבי עופר
קבוץ יפעת

Ашер Бараш

ИСТОРИЧЕСКИЕ НОВЕЛЛЫ



БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ

1987

Printed in Israel

אשר ברש
נווילות היסטוריות

הוצאת תל אביב
760

Asher Barash
HISTORICAL STORIES

Перевели с иврита *И. Минц,*
М. Драчинский

Редактор *Н. Драчинская*

Оформление обложки *А. Казарновской*

ISBN 965-320-015-1

©

All rights reserved

כל הזכויות שמורות

לספרית-עליה

ת.ד. 4140, ירושלים

היוצאת לאור בסיוע:

האגודה לחקר תפוצות ישראל, ירושלים

וקרן זכרון למען תרבות יהודית, ניו-יורק

OCR Давид Титиевский, сентябрь 2021 г., Хайфа

СОДЕРЖАНИЕ

Несколько слов об авторе. <i>М. Драчинский</i>	1
Саул и ослицы. <i>Перевод И. Минца</i>	1
Оставшийся в Толедо. <i>Перевод И. Минца</i>	57
На постоялом дворе. <i>Перевод М. Драчинского</i> . . .	85
...И небо тому свидетель. <i>Перевод И. Минца</i> . . .	131
В Марбурге. <i>Перевод М. Драчинского</i>	147

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ АВТОРЕ

Ашер Бараш (1889—1952) родился в городке Лопатино в Восточной Галиции в семье преуспевающего торговца, позаботившегося о том, чтобы сын получил и еврейское традиционное, и общее образование. В возрасте 16 лет А. Бараш покинул родительский дом и переехал во Львов. Тогда же и были опубликованы его первые произведения — стихи, рассказы, критические статьи, написанные на идише. Знакомство с известными ивритскими писателями И.Х. Бреннером и Г. Шофманом побудило его начать писать на иврите.

В 1914 году А. Бараш переселился в Эрец-Исраэль, начал преподавать в знаменитой Тель-Авивской гимназии "Герцлия" и одновременно печатался в различных периодических изданиях. Во время Первой мировой войны, после того как турецкие власти выселили евреев из Тель-Авива, А. Бараш переехал в Хайфу. Будучи австрийским подданным, он использовал свои связи в разных иностранных консульствах для спасения многих евреев, преследуемых турецкой администрацией.

После окончания войны А. Бараш возвратился в Тель-Авив, где и жил до самой смерти. Он работал во многих издательствах и был главным редактором юношеского ежемесячного журнала "Атидот" ("Будущее"). Его произведения печатались в периодических изданиях Второй алии — репатриационной волны из России и Восточной Европы, положившей начало трудовому населению Эрец-Исраэль и новому направлению в прессе и литературе. К этому направлению принадлежат такие писатели, как А. Гордон, Ш. Цемах, С. Бен-Цион, И. Ахаранович, Ш.-Й. Агнон, Д. Барон и др.

Перу А. Бараша принадлежит двухтомная "Теория литературы" — первый практический курс по теории художественной прозы на иврите. Его литературное наследие составляет около 30 томов и включает в себя поэзию, художественную прозу, многочисленные переводы из еврейской литературы, литературоведческие работы, эссе и статьи на разнообразных темы. Его роман "Чужая любовь" был удостоен премии имени Х.-Н. Бялика. Он был председателем Ассоциации писателей, пишущих на иврите, членом отделения Пен-клуба в Эрец-Исраэль и членом Академии языка иврит.

Главные темы прозы А. Бараша — проблемы жизни евреев диаспоры ("Огненный столп", "Чужая любовь", "Рассказы Рудорфера") и строительство еврейского ишува в Палестине ("Как град осажденный", "Человек и его дом стерты с лица земли", "Садовники").

В исторических новеллах А. Бараша, в том числе и представленных в данной книге, автор находит адекватный языковой и художественный арсенал средств для убедительного литературного воссоздания картин жизни разных эпох. Действие может происходить во времена библейских царей ("Саул и ослицы"), в дни гайдамацких погромов ("...И небо тому свидетель"), в нацистской Германии ("В Марбурге"), но повествование остается одинаково достоверным. Вопросы, интересующие А. Бараша, как правило, одни и те же: человек и его судьба, место евреев среди других народов, отношение народа Израиля к диаспоре и к Эрец-Исраэль. По убеждению писателя, больной и неестественный мир еврейской диаспоры обречен на закономерное исчезновение, но А. Бараш, сам частично принадлежавший к этому миру, горячо его любит и тоскует по нему. Эта двойственность (характерная в той или иной мере для подавляющего большинства писателей Второй алии) наложила отпечаток на все рассказы А. Бараша, несмотря на

реалистический метод описания и отсутствие какого бы то ни было отождествления автора с собственными персонажами.

Так, в споре между выдающимся деятелем Возрождения Эразмом Роттердамским и бедными студентами иешивы, с риском для жизни спасающими священные книги ("На постоялом дворе"), личные симпатии А. Бараша принадлежат, очевидно, последним. Но именно великий голландский философ, автор "Похвалы глупости", произносит в рассказе слова, перекликающиеся с учением политического духовного сионизма, — слова о том, что Израилю для его спасения необходимо в какой-то мере отделиться от чрезмерно углубленного изучения Божественной премудрости и усвоить правила "земного существования" других народов — жить в своем государстве с армией и полицией, своей экономикой и т.д.

Сборник исторических новелл Ашера Бараша — первая попытка познакомить русскоязычного читателя с творчеством этого интересного писателя.

Марк Драчинский



Рембрандт. Давид, играющий на арфе перед Саулом. 1629 г.

САУЛ И ОСЛИЦЫ

I

Киш, сын Авизля сына Цора, слыл на Гиве человеком деятельным и мужественным. Когда ему было около пятидесяти лет, его трое сыновей заболели и в течение одного месяца умерли один за другим у него на руках. И никого у Киша не осталось, кроме его жены Наамы, которая была слишком стара, чтобы рожать.

Однажды утром Киш надел свою праздничную одежду и верхом на высокой и красивой ослице отправился в город Шалем. Там за большую цену купил он еврейскую рабыню, приятную лицом и стройную станом. Она была круглой сиротой и принадлежала дому Шоа Евусея.

У Евусея купил он ее и ввел в свой дом, чтобы была женой ему на старости лет и принесла ему желанного сына взамен троих умерших.

И звали ее Шломот.

Киш поставил для нее роскошный шатер.

Шломот зачала и по истечении девяти месяцев и пяти дней родила мальчика. Обрадованный отец, убедившись, что младенец хорош и крепок, дал ему имя Саул*, ибо хотел он сказать этим: *"Вот сын, которого просила душа моя"*.

И устроил Киш многодневный пир для всех жителей Гивы. А на восьмой день совершили, согласно Закону, обряд обрезания. В правую мочку сына Киш вдел серьгу-талисман, залог жизни и здоровья.

На Гиве и во всем наделе Биньяминовом слыл

* Саул (*Шаул*) — "выпрошенный у Бога".

Киш человеком мудрым и неутомимым. 30 лет тому назад, еще будучи юношей, он спас Гиву от захватчиков амалекитян, явившихся сюда с востока, из-за горы Эфраим.

Киш собрал вокруг себя полсотни смельчаков, обучил их владению оружием, тайно закупленным у филистимлян, и темной ночью напал на гарнизон врагов; убив большую часть, остальных обратил в бегство. С тех пор Гива зажила спокойно, и слава Киша, мужа Совета, возросла. Он всегда становился на сторону бедных, гневно преследуя всякую несправедливость, и поэтому многие любили его, но многие и боялись.

Злые языки и завистники, опасаясь открыто выступить против влиятельного Киша, распустили тайком злонамеренный слух, будто владелец евусейский надругался над Шломот до того, как продать ее новому хозяину.

Шломот была высокого роста, с черными гладкими волосами и блестящими глазами горной газели, с гордой и властной осанкой. Киш не скупился: приобретал для нее красивые наряды и украшения, юношам и девушкам, прислуживавшим в доме, а также своей старой жене Нааме он наказал беречь ее как зеницу ока, потому что она мать его единственного сына и наследника Саула и дороже ему всего на свете. Шломот больше не рожала и была всей душой привязана к своему единственному сыну.

И вот случилось однажды, что, находясь на гумне, Киш услышал разговор, порочащий Шломот: будто бы она, распутная, зачала в грехе, и мальчик якобы похож на Евусея. По голосу он определил, что говорил это Миклот, тот самый Миклот, который был осужден четыре года тому назад за избивание еврейского мальчика-раба, а Киш был тогда судьей.

Возмущенный наглой клеветой, Киш взял дубинку, перелез через колючую изгородь, минуя пшеничную копну, подошел к сидевшему на поле Мик-

лоту и молча обрушил свою палку на голову клеветника. Тот рухнул без сознания и, хотя остался в живых, годами с тех пор не вставал с постели, мучаясь болями.

Утром следующего дня, придя к старейшинам, Киш рассказал о содеянном:

— Я согрешил, избил человека без суда. Во мне закипела кровь, а рука — плохой советчик. Возложите на меня наказание по закону.

Вызвали присутствовавших при избиении как свидетелей. Под присягой они показали, что Киш действительно избил дубинкой Миклота, но что Миклот пустил гнусную сплетню о Шломот и ее сыне, которых Киш любит больше самого себя. Тогда судьи постановили обязать Киша выплатить жене избитого деньги, так как она лишилась кормильца. Но, сказали они, Киш не совершил кровного греха, поскольку его оскорбили бесчестным и лживым наговором на супругу. А клеветник — он вполне заслуженно наказан.

С того самого дня Киш стал другим человеком. Он отпустил бороду, перестал стричь волосы, стал похож на аскета, удалившегося в пустыню. Он избегал людей, пренебрегал обязанностями мужа Совета, хотя в округе по-прежнему его почитали. Киш целиком сосредоточился на хозяйстве — оберегал собственные поля, виноградники, стада. И все силы свои положил на воспитание сына — единственной страсти души его. Он учил Саула разным ремеслам, заставлял упражняться в быстром беге среди скал, прыгать через препятствия, обучал искусству борьбы, меткому метанию пращи, безукоризненному владению луком — на случай войны с врагами. Он учил его Торе и соблюдению обычаев предков, передававшихся из поколения в поколение в доме Авизеля, отца его. Киш не умел ни читать, ни писать и не обучил грамоте своего любимого сына.

Годы забот и трудов несколько согнули Киша, но он оставался крепким. Он говорил очень скупно и сдержанно. Многие, знавшие его раньше, помнившие его кипучую энергию, упрашивали Киша вновь заняться делами общины, на что он неизменно отвечал:

— Зачем вы обращаетесь ко мне, грешному? Я ведь принадлежу к самой младшей семье колена Биньямина.

Он больше не соглашался быть советником и защитником, даже стал уклоняться от участия в общих жертвоприношениях, перестал ходить в Божий дом, не появлялся на праздниках. Он поставил в своем дворе жертвенник и там приносил жертвы Господу, согласно учению Моисея, переданному ему по заветам предков. Но не забыл он, как отец брал его с собой в Шило,* и не забыл он ни самое торжество, ни самое место жертвенника. Он рассказывал сыну своему Саулу о Скинии и ее утвари, о Ковчеге Завета, о первосвященнике Элии и его воспитаннике Самуиле. И у мальчика, слушавшего рассказы отца, захватывало дух.

II

Саул рос непохожим на местных юношей. Ростом был он выше своих сверстников, черноволосый, с белым лицом, с прямым носом, необыкновенно похожий на свою мать. Он не вступал в игры с соседскими мальчиками. Саул очень любил своего отца за его справедливую и простую душу, он восхищался красотой своей матери, ее обаянием, благородством ее поступков.

Во всех отцовских трудах и заботах, как в по-

* Шило — религиозный центр Эрец-Исраэль в эпоху Судей (период между 1200 и 1025 гг. до н.э.). Служил резиденцией семье первосвященника, долгое время там находились Скиния и Ковчег Завета.

ле, так и дома, Саул стал его надежным помощником. Быстрый, смелый, с сильными руками, он легко поднимал и носил любые тяжести. Легконогий, он быстро ходил, бегал стремительно, прыгал высоко. Саул избегал развлечений, уклонялся от участия в пиршествах, не гулял с девушками родной Гивы, хотя те и засматривались на необыкновенного юношу. Не одна видела его в своих сновидениях: будто брал ее Саул за руки, прижимая к могучей груди, нашептывая нежные слова, обещая блаженство.

У Киша, умного хозяина, кроме полей и виноградников, кроме стад, молочного скота и овечьих гуртов, было пятьдесят породистых ослов и ослиц, которых содержал он в особом загоне, огороженном высоким забором. Они давали добрый приплод, который шел на продажу. В стойлах у него были животные самых разных мастей и достоинств: ослы из Нубии и Арама, Аргона и Междуречья, из земли филистимской и Тира, из пустынь и с берегов великой реки Египетской; самцы и самки пепельного и серого цвета, черные и белые. По сравнению с другими, ослы и ослицы Киша отличались высоким ростом, прекрасной статью, силой, выносливостью, проворством, способностью легко преодолевать трудности дороги и таскать тяжелый груз.

Отличный знаток дела, Киш, сбывая на рынках потомство своего ослиного поголовья, нажил большое состояние. Сына Саула он посвятил во все тонкости ухода и выращивания этих животных. Тот хорошо постиг эту нелегкую науку, радуя отца памятью, усердием, сноровкой, умением. Саул привязался к этим животным и хорошо разбирался в тонкостях их пород, наклонностей и повадок.

В наделе Биньяминовом никто не умел так проворно и ладно ездить на ослах, как Саул. Животное, чувствуя его горячую кровь и силу воли, подчинялось ему с любовью и страхом. Уши живот-

ного приподняты, а ноздри улавливают далекие запахи, ноги несутся стремительным галопом, животное опьянено ездой. Услышав издали крик осла, ослица подает голос, как бы извещая о прибытии своего господина, или поворачивает голову к своему седоку, как бы обращаясь к нему. Всякий, кто видел Саула верхом, останавливался, затаив дыхание: так прекрасен был ездок, слившийся с животным, уносящим его за облака пыли. И родилась на Гиве поговорка: "Ездит, как Саул, сын Киша".

Многие на Гиве завидовали Кишу и тоже стали выращивать ослов на продажу, но их постигла неудача, не повезло им. Они потеряли состояние, вернулись к обработке виноградников, продав за бесценок выращенное стадо, и затаили в душе злобу на Киша. Хотя внешне они продолжали почитать его, их снедала зависть.

Случилось так, что Аравна Евусейский прибыл к Кишу, чтобы купить у него ослицу. Он говорил по-евусейски и немного по-еврейски. Киш вызвал Шломот помочь ему и гостю, так как она, служа в доме Евусея, научилась прекрасно изъясняться по-евусейски. В разговоре с Кишем, евусей посоветовал ему купить несколько хороших кобылиц для выведения мулов, так как от спаривания осла с кобылицей рождается мул, который наследует лучшие качества обоих родителей: он высокий и легко бежит, у него горячая кровь и он наследует грациозность движения от матери и большую выносливость от отца. Но мул не дает потомства, он бесплоден. Если Кишу удастся выращивать хороших мулов, говорил евусей, то их всех закупят цари. Потому что цари и знать в древних странах ездили верхом только на мулах.

Киш не пожелал слушать советов Аравны и ответил с несвойственной ему горячностью и витиеватостью: "Упаси, Боже, меня, еврея, от обычая филистимского — спаривать животных для производ-

ства вида, не дающего потомства. Законы, полученные нашими отцами в пустыне Синая, запретили нам подобное. Только виды, сотворенные Богом, я буду воспроизводить, сохраняя их чистоту, так как попарно помещены они были Ноем в ковчег, когда спасались от всемирного потопа: чистое животное — для пищи, нечистое — для работы. Благословен Господь Бог наш, нет у нас, у евреев, царей и нет надобности для своего возвеличивания ездить верхом на мулах. Самуил из Рамы наш судья и наставник народа нашего от Дана до Беер-Шевы, ездит верхом на маленькой ослице, и за это весь народ, от края до края, чтит и уважает его”.

Говоря о Самуиле, он вспомнил, что всяк, видевший его, выказывал ему уважение. И Киш также уважал его и гордился тем, что однажды Самуил удостоил его чести и заночевал в его доме, и благословил сына его, Саула, долгой молитвой.

Евусей, посмеиваясь над высокопарными и горячими словами Киша, бросил свой насмешливый взгляд на Шломот, стоявшую справа от своего мужа. Киш перехватил взгляд пришельца, вспомнил о Миклоте и закусил крепко губу. Он больше не стал разговаривать с евусеем, а Шломот отослал в шатер к женщинам. Саулу же, сыну своему, внимавшему их беседе, сказал:

— Пойди, сын мой, и проводи гостя до поля, где стригут овец.

Саул все видел и, сохранив в сердце своем, запомнил.

III

Ночью две ослицы-двойняшки, которых Киш растил с особой любовью, проломили ограду загона и ушли в горы, на север. Рано утром, когда Киш с Саулом пришли в загон проверить животных, раб рассказал им о случившемся. Услышав, что ослицы

разрушают изгородь, он поспешил к месту происшествия, но не пустился в погоню, боясь как бы и остальные ослы не убежали и не пропали бесследно. Раб объяснил, что счел за лучшее сначала починить поврежденную ограду, а потом сразу же погнался за убежавшими ослицами — но он не настиг их, и они ушли далеко.

— Почему же ты не поднял шум? — закричал Киш, ибо ему было жаль пропавших породистых ослиц.

Саул не смог побороть гнев, подошел к рабу и начал трясти его:

— Почему ты не позвал меня? Ведь, погнавшись за ослицами, я бы вместе с тобой стал их искать. Урод! Бездельник!

Раб только моргал глазами от страха и молчал, не зная, что ответить.

Был в распоряжении Саула юноша-слуга по имени Ахъё, расторопный и неутомимый в походах, понятливый и старательный. Был он моложе своего господина на три года и сопровождал его повсюду, почитая его и стремясь быть ему полезным во всем.

Киш распорядился во гневе:

— Саул! Возьми с собой Ахъё и отправляйтесь искать ослиц, они ведь лучшие в нашем стаде. Пусть не будут смеяться над нами в народе: "Ушел от Киша осел!" Иначе мы будем опозорены.

Заметив некоторое замешательство сына, он добавил:

— Тебе исполнилось уже восемнадцать лет, пора жениться. Ахимаац, сын Аминадава из Кирьят-Иеарима, у которого красавица-дочь, прислал ко мне сватов, а ты еще не совершил достойного мужчины дела. Пойди и верни пропавших ослиц. Тогда увидим, сможешь ли приносить добычу в дом свой и прокормить семью свою.

Саул поспешно ответил:

— Я выполню ваше поручение, отец мой и учитель.

Он отправился в шатер к матери, чтобы та бла-

гословила его и снабдила его и слугу припасами на несколько дней пути, пока они будут искать ослиц. Шломот сказала:

— Благословенно твое желание, сын мой. Исполни повеление отца.

И она приготовила ему все самое вкусное, что было в доме: крутые яйца и козий сыр, черные маслины и большую лепешку, дала ему и Ахье теплые одеяла, чтобы они могли согреться в ночную стужу и в час утренней росы.

Отец благословил его и дал ему несколько серебряных монет на тот случай, если ему понадобится купить что-то в пути или наградить человека, нашедшего и кормившего заблудившихся ослиц.

Шломот поцеловала сына, пожелала ему удачи:

— Бог да окажет тебе расположение свое, чего ты достоин, сын мой.

Киш поцеловал его в плечо и сказал:

— Бог да вернет тебя в отчий дом целым и невредимым.

Не задерживаясь, вышли они из дома засветло. Ахье навьючил на себя одеяла, сумку с продуктами и всю поклажу, а Саул, господин его, шел впереди с крепкой палкой в руке и хорошим луком со стрелами на боку. Они пошли в направлении, указанном им рабом, который сторожил животных в ту ночь.

Впервые Саулу случилось уйти из дому так далеко от Гивы и впервые действовать самостоятельно, без указаний отца.

IV

Саул и его слуга Ахье вышли в путь за два часа до захода солнца. Стояли жаркие дни, дни уборки пшеницы, солнце, заходя, погружалось в море. Ветер дул им в лицо, обдавая запахами скошенных трав, душистых, высохших под лучами паля-

щего солнца. Куда бы юноши ни смотрели, всюду видели они мужчин, женщин и детей, работающих в поле: те вязали снопы, укладывали их в стога, а на межах и на тропах стоял скот, подбирая колосья и солому вокруг. А около корзин с припасами лежал младенец; в ясном голубом небе вспыхивали золотые ручейки, а ветерок словно напевал в тишине.

На большинстве полей около межи, согласно обычаю, глубоко чтимому народом, было оставлено по два-три ряда колосьев — доля бедных. Но были и такие поля, где было скошено все.

Многие прерывали работу и смотрели вслед проходящему красивому юноше, сыну состоятельных родителей, судя по его одежде; он шагал уверенно и легко, а за ним шел слуга, несущий поклажу.

Саул и Ахъё приветствовали всех работающих в поле принятым в наделах Иехуды и Биньямина приветствием: "Благословение Господа Бога!" — и люди отвечали напевно: "Мы желаем вам добра именем Бога, и ниспошлет он вам удачи в пути!"

Саул чувствовал, будто он летит на крыльях. Ему казалось, что он птицей проносится над полями, дорогами, тропами. Обувь его стала белой от пыли и даже волосы на ногах покрылись пылью, но он ничего не замечал, вдыхая широкой грудью теплый ветер. Он думал о том, как хорошо поступил Киш, отправив его пешком, а не верхом. Так он несколько дней будет идти по стране гор и холмов, будет ощущать радость от кончиков пальцев на ногах до корней волос на голове. Как прекрасна страна и как жаль, что до сих пор он не видел ее во всем величии!

Вскоре они пришли в деревню Ирпээль*, большое селение с шумной толпой работающих, со стадами овец и коз, поднимающих облака пыли. Им

* Ирпээль — "Бог отвернулся"; *ирпэ* — отворачивается, *эль* — Бог (ивр.)

ударил в нос запах еды из обожженных горшков, смешанный с запахом дымящегося под горшками помета. Женщины и девушки, стройные, рослые, словно финиковые пальмы, несли на головах или плечах тонкие и узкие, как черные свечи, кувшины с водой. Они шли от источника к домам и не обращали внимания на путников. Почти голые ребятишки носились по улицам, бросая камнями в собак, те с диким лаем и визгом убегали.

Саул останавливал возвращающихся домой мужчин, расспрашивал их об ослицах. Но они отвечали: "Не видели, не слышали", и продолжали свой путь. И так ему отвечали многие, будто сговорившись.

Тогда Ахье сказал своему господину:

— Это то самое село, о котором, мой господин, отец твой, сказал, что сыны Содома основали его, а сын Гоморры сторожит ворота его. Оно соответствует своему названию. Бог отвернулся от этого места.

Саул стал укорять себя за то, что он призвал Божью благодать на это село, но ничего не ответил Ахье, и они продолжали свой путь.

V

С темнотой Саул со слугой пришли к маленькому селу Айн, скрывавшемуся в расщелине гор. Они направились туда, чтобы переночевать и спросить у жителей о пропавших ослицах.

Селяне были добрыми и честными людьми, несмотря на то, что жизнь у них была тяжелая. Люди только-только закончили вечернюю трапезу и отдыхали от дневных трудов. Увидев пришельцев, они встретили их радостно и гостеприимно. Узнав же, что пришельцы с Гивы и что молодой господин — сын Киша, владельца ослиного завода, почтительно проводили их на ночлег в общинный дом, извиняясь и говоря:

— Теперь самая страда уборки: почтенные жители нашего села не собираются по вечерам в общинном доме. Люди очень устали, а посему не сочтите за неуважение к вам, что мы не принимаем вас со всеми почестями, полагающимися таким знатым гостям. Еду и питье мы пришлем вам с самой красивой девушкой села, как у нас принято. Она и постелит вам, чтобы приятно спалось.

Саул поблагодарил добрых людей и сказал:

— Не по собственной прихоти отправились мы в путь, а посланы отцом, господином моим, разыскать убежавших ослиц-двойняшек, вырвавшихся вчера ночью из загона. И вот приметы, по которым их можно узнать: высокие и белые, волос у них гладкий, как будто смазан маслом, глаза беспокойные, пытливые, у каждой из ослиц на левом ухе срез — так Киш метит своих ослов. Тот, кто увидит наших ослиц или услышит о них что-нибудь, пусть сообщит нам, чтобы мы смогли найти их. И он получит достойное вознаграждение по велению отца моего, а также выполнит заповедь Моисеева учения "Возврати находку ее владельцу!" и не возьмет греха на душу.

Один из селян сказал на это так:

— Верно, еще до рассвета, выходя доить своих коз, я увидел, как два осла, стуча копытами по утопанной земле, галопом неслись в сторону гор Эфраимовых, в Шалишу. Они были крупными и крепкими, так что я принял их за мулов. С рассветом отправляйтесь в Эфраимовы горы, и если честный человек задержал ослиц, он вернет их вам по приметам, которые вы описали, даже без вознаграждения. Но если их задержал амалекитянин, он не только не вернет ослиц, но и будет проклинать вас и весь наш народ, если будете требовать с него возвращения ослиц. А теперь с Божьей милостью да снизойдет на вас покой и сон после проделанного вами тяжелого пути, и пусть восстановятся ваши силы.

Второй сказал так:

— Правильно сказал вам Парош. Если вы пожелаете, я, раб ваш, могу вместе с вами пойти искать вашу пропажу, так как знаю все дороги и тропы в горах Эфраимовых. Утром спросите Азгада, сына Яшпана, и каждый приведет вас ко мне, а я возьму с вас самую малость за труды свои.

Двое поселян повели пришельцев в общинный дом, открыли перед ними дверь и зажгли свечу. Девушка принесла на подносе еду и напитки, лучшее, что нашли. Она поставила перед ними поднос, поклонилась и сказала:

— Это скромное угощение людей Айна, поешьте, а я приготовлю постели.

И она постелила им, собрав подушки на лавки у стен.

Девушка была очень красивая и скромная в поведении. Саул впервые в своей жизни посмотрел на женщину взглядом мужчины, но не сказал ей ни одного слова: ни хорошего, ни плохого. Только ответил на ее приветствие благодарностью, а сердце его учащенно забилося.

После ужина Ахьё по приказу Саула погасил свет на маленьком столике, и они оба легли спать. Ахьё заснул тут же, — он устал от ноши, а Саулу не спалось. Он не мог отделаться от впечатлений пути, и сон не шел к нему. Дважды он окликал Ахьё, но тот лишь громко храпел во сне и скрипел зубами, как теленок в стойле.

Луна сияла сквозь круглое отверстие под закрытой дверью, с улицы тянуло прохладой. Все селение спало, и только было слышно, как кричит осел, да мяукает кот, призывая свою подругу, да шуршит летучая мышь под крышей. А в полночь громко со всех концов Айна стали перекликаться петухи. Саул встал с постели, подошел к двери, тихонько приоткрыл ее и босиком вышел во двор. Луны не было видно из-за густого тумана, легшего на землю и покрывшего все кругом. И только

крики петухов раздавались то тут, то там. Саул уселся на обломок большого камня, лежавшего около двери, и стал молча смотреть в туман...

Прошло немного времени, все умолкло. Глаза Саула начали различать силуэты домов, деревья и столбы. Невдалеке, как высокая стена, выросла гора, которую он вначале не заметил. На дворе было холодно. Холод, проникая под рубаху, обжигал тело, волосы пропитались росой. Он встал, вернулся в дом, взял мягкое шерстяное одеяло, которое дала ему мать, закутался в него и опять вышел в туман и сел на тот же камень, словно готовясь обдумать все, что накопилось у него в душе за время пути. Нет лучше часа для размышлений, чем ночь, когда никто не видит и не слышит тебя.

И тотчас же нахлынули на него воспоминания. Он думал о Гиве, об отчем доме и о том, что ждет его впереди. Саул думал о том, что Киш, отец его, достиг преклонных лет и знает только бесконечные труды и заботы ради его матери, Шломот, и ради него самого, их единственного сына. Он думал о Нааме, старой жене отца, потерявшей всех своих сыновей, думал, что эта старая женщина любит его отца Киша, Шломот и его без ревности, что все трое они для нее, как родные дети. Он думал о рабах и о прислуге, о полях и виноградниках, о скотине и водопое для ослов, — обо всем думал он с тоскою и грустью в сердце, потому что, как ни старался он представить их себе, он видел их не как живых, а как бы сквозь пелену тумана или сквозь стену-гору, будто забыл, как они выглядят.

Вдруг донесся до него голос, словно кто-то вскрикнул во сне, голос одинокий, не отдававшийся эхом. И только он один, пришелец, слышит этот голос. К кому взывает он? Не ему ли, Саулу, кричит кто-то, моля немедля помочь? А может, это голос души его? Голос души, зовущей разорвать сковывающие ее цепи.

Голос утих, исчез, но раздумья, порожденные им, продолжали будоражить Саула. Перед уходом из дома отец сказал ему, что собирается женить его на дочери Ахимааца из Кирьят-Иеарима. Его имя известно всем как имя честного и благочестивого человека. В его доме стоит Ковчег Завета из Шило, пока не построен еще Храм. О дочери его, Ахиноам, рассказывают, что она превзошла всех красотой и умом в наделе Биньяминовом. Он еще не видел ее собственными глазами, но образ ее запечатлелся у него в душе с той минуты, как он услышал о ней впервые. Несколько раз он видел ее в своем воображении похожей на свою мать, но моложе и нежнее ее. Теперь же к этому прибавились черты той красивой девушки, которая принесла им вечером еду и постелила постели.

Было радостно на сердце у него от того, что Ахимаац хочет отдать ему свою дочь в жены. Как только он вернется домой с ослицами, отец пошлет старейшину их рода, Авишая, в Кирьят-Иеарим просить Ахиноам у ее отца. Саул не сомневался, что девушка не откажется пойти за него, так как она уже наслышана о нем. Он знал, как тянутся к нему женщины, и чувствовал, что все девушки Гивы смотрят на него влюбленными глазами. Одно его печалило: затяжной обряд женитьбы, бесконечные танцы, сотни гостей, весь ритуал веселья — все было ему в огорчение. Будь на то его воля, умчал бы он со своей Ахиноам в укромное место, укрылся бы в горах и не показывался на людях много дней подряд.

Образ будущей невесты преследовал его. Но в душе он думал: "А если не отыщу ослиц? Неужели отец лишит меня Ахиноам? Неужели только так можно проверить, способен ли он, как подобает мужчине, обеспечить свою семью? Неужели он уже не доказал отцу, что достоин быть мужем среди народа своего? Разве не выполняет он все работы, поручаемые ему Кишем? Разве не увеличивает он

богатство отца умелым уходом за ослиами? Кто, как не он, унаследует все после отца? Ведь знает он, как любит его отец, знает, что, кроме его матери и сына, рожденного ею для него, нет у отца ничего в жизни. Зачем и к чему ему людской почет? Или надумал его мудрый отец пошутить над ним, чтобы возбудить в нем усердие в поисках убежавших ослиц? Так ли или иначе — Ахиноам будет его. Свидетелем тому — эта ночь”.

Внезапная радость наполнила его сердце. Он вдруг ясно увидел отчий дом в Гиве, прелестное лицо Ахиноам, повторение лика матери его и девушки из Айна, которую он увидел вчера, когда стояла она возле своего седого отца. Захотелось ему, чтобы приблизился день свадьбы, чтобы скорее кончилась ночь, высохла роса и он ринулся бы на поиски ослиц. Нет сомнения — они где-то в горах Эфраима. Ведь сказал ему вчера человек, что видел, как они убегали туда. Он найдет их, поищет и найдет — без помощи Азгада, сына Яшпана!

Теперь он не сомневался, что заснет и будет спать спокойно. Он встал и, пританцовывая от холода, направился в дом, лег на кровать и укрылся с головой мохнатым одеялом, что дала ему в дорогу мать.

И сон пришел к нему, лишь только он закрыл глаза.

VI

С восходом солнца Саул и Ахъё вышли из деревушки Айн. Все было покрыто росой, трава и ветки деревьев были влажными и блестели так, точно только что появились на свет. В небе плыло голубое облако, позлащенное солнцем. Они поднялись по склону той горы, которая ночью казалась Саулу нависшей стеной. По обеим сторонам дороги росли оливы, смоквы и сикоморы. Птицы разви-

лись в их ветвях, трепеща крыльями и приветствуя солнце ликующими трелями. Вскоре на дорогах и тропинках показались люди, идущие на работу в поле, чтобы закончить жатву хлебов, немного запоздавшую в горах. Несколько коршунов парили в небе, отбрасывая тень от крыльев на землю, как бы указывая кому-то дорогу. И пастухи отправлялись со своими резвыми стадами в горы, на пастбища.

Ахьё, хоть и спал всю ночь, был не в духе. Саул же, лишь немного подремавший перед рассветом, был свеж и бодр и поднимался в гору все выше и выше. Ахьё сокрушался, что все еще не видно следов ослиц. У него сжималось сердце от мысли, что благословение его господина не приходит на помощь и у них впереди еще несколько дней бесполезных поисков. А Саул почти не вспоминал об ослицах, сердце его было заполнено всем виденным и слышанным в пути. Мысли об Ахиноам, вспыхнувшие в тумане, продолжали роиться у него в голове. Весь его долгий путь ведь только для того, чтобы найти Ахиноам, схватить ее и не отпускать. Так сказал ему отец перед дорогой: "Иди и возвращайся, и я дам тебе Ахиноам, дочь Ахимааца из Кирьят-Иеарима".

Шли они с рассвета до полудня, потом расположились на отдых в тени дерева и съели припасенные из дому яйца и сыр, заели пирогом, который им принесли на ужин в Айне, а воду им давали пить из своих бурдюков работающие в поле. Саул отдавал лучшие куски Ахьё, и тот чувствовал доброе отношение к нему своего господина.

Пройдя по скошенному полю, они натолкнулись на кучку ребят, которые сидели на коленях вокруг костра и звонко хохотали. Ахьё сказал Саулу:

— Ты посиди здесь, господин, а я пойду посмотрю, чему они так радуются.

Саул кивнул и уселся на камень на краю поля.

Пока он сидел на камне, к нему возвратились приятные мысли.

Ахъё вернулся и со слов старшего из ребят рассказал Саулу, что во время жатвы отцовского поля они нашли много гнезд перепелок с птенцами в них. Перепела улетели, а птенцов поднять не смогли. Ребята собрали их, перебили палками, выпотрошили и теперь жарили на костре.

Дух свежего жареного мяса заполнил все кругом. Ахъё нагнулся и разглядел грудку общипанных птенцов, испеченных на горящих углях, теперь лежавших как комья земли. А один мальчик сказал ему:

— Возьми себе несколько штук, поешь сам и отнеси своему господину, который сидит в конце поля на камне. Он, видно, сын вельможи. Принеси ему подарок от ребят.

— Не бойся! — сказал другой мальчик, — они не из тех, что были препятствием сынам Израилевым во время их странствия в пустыне.

— Они очень редко гнездятся в наших местах — добавил третий, — но нам повезло, мы нашли место, и мясо их мягкое, как масло, и нежное, как мед.

С этими словами он откусил кусок мяса, и жир потек у него по губам, на рубаху, на шею, и он не вытирал его.

Ахъё съел одну перепелку, а двух взял с собой, поблагодарил ребят и вернулся к Саулу. Подойдя ближе, он показал ему перепелок со словами:

— Вот, посмотри, господин мой, мальчуганы послали тебе в подарок. Они поймали их в родительском поле и обжарили на огне. На, поешь, их мясо очень вкусное.

Саул посмотрел на него, как на чужестранца, и сказал:

— Разве ты не знаешь, что в доме Киша не едят мяса с кровью? Съешь сам и этих.

Ахьё эти слова не доставили радости, но он смолчал и положил перепелок в сумку. Ему хотелось убедить Саула, что не вернуть им ослиц, что люди, которых они станут спрашивать, будут смеяться над ними. Будет очень хорошо, если ослицы сами вернутся в свои стойла. Однако, увидев задумчивого Саула, он не посмел больше обращаться к нему. Ахьё снова стал слугой без желаний. Он все расспрашивал встречаемых охотников, вооруженных луками, не известно ли им что-нибудь про заблудившихся ослиц, а люди отвечали и так и этак, и невозможно было установить, где правда и где выдумка в их словах. Саул слушал, но ни разу не вмешался в расспросы Ахьё, как человек, которому до всего этого нет дела.

VII

На третье утро их блужданий в поисках ослиц рассвет застал их на вершине горы. Над землей плыл оранжевый круг, и в этом освещении утренней зари появилась группа босых людей с непокрытыми головами, одетых в шерстяные одеяла, опоясанных кожаными ремнями. Они спускались тропками между виноградниками, ведущими на юг. Среди них было двое совершенно голых мужчин с арфой, барабаном и скрипкой. Они пели либо вместе с хором, либо вдвоем, выводя замечательные, приятные слуху мотивы.

Саул не знал, что это за люди. Ахьё же слышал в Найоте, около Рамы, что в доме, воздвигнутом провидцем, проживают люди, которых в народе называют пророками. (Прежде в Израиле человека, владевшего искусством стихосложения и красноречия, называли пророком). Живущий там провидец приводит их в эту местность для изучения божьих наук и ремесла стихосложения. Он кормит их и снабжает всем необходимым, тратит на них пожертвования, которые собирает во время

своих странствий по стране. Два-три раза в году провидец приходит к ним, обучает их Торе. Ахьё знал и то, что раз в год, по жребию, пророки уходят в пустыню, предстают там перед лицом Господа, затем омывают тело, погружаясь в воды Иордана недалеко от места впадения его в Мертвое море. И даже если они остаются там на месяц, нет у них крова над головой, а пища их — лишь горсть фиников из урожая Иерихона. Пьют они воду из реки, зачерпывая ее ладонью. Так очищают они тело и дух свой, чтобы пророчествовать после этого. Бывает, что смеются над ними, говоря, будто проводят они время впустую, что-де солнечный диск они окунают в Мертвое море, чтобы остудить его. Это и подобное довелось Ахьё слышать от отца и матери на Гиве, и слова эти врезались ему в память.

Стихи, распеваемые будущими пророками, глубоко запали в сердце Саула. Даже после того, как люди ушли по склону и скрылись из глаз, а голоса их больше уже не достигали слуха, песни все еще продолжали жить в нем.

Он спросил своего слугу:

— Не знаешь ли, что это за люди, что проходили здесь, играя и распевая, как херувимы?

Ахьё ответил:

— Они и есть пророки, которых обучает провидец. Они направились к Иордану, чтобы по обычаю давних времен очистить себя в водах реки в месте впадения ее в море.

Ничего больше не спросил Саул, но песня пророков так глубоко запала ему в душу, что он стал казаться себе одним из них. В пути он, изменяя на разные лады мелодию и тоны песни, распевал ее про себя без слов.

Напевая, он вспомнил, что много раз слышал от отца имя провидца, произносившееся с любовью и страхом, но отец почти ничего не рассказывал сыну о его деяниях. Однажды провидец ночевал в

доме Киша, и перед его уходом Киш позвал своего малолетнего сына. Тот посмотрел на него радостно, а потом положил руку на голову мальчика, благословляя его долгой молитвой, и казалось, будто ему было трудно снять руку с головы малыша. Образ провидца встал перед глазами Саула: невысокий, очень худой старик, лицо обрамлено седой бородой, а в глазах — жгучая грусть. Теперь знал Саул, почему в глазах его такая печаль — он для Израиля, как отец, который всегда вместе с ним, всегда беспокоится и страшится за его благополучие. Все дни он проводит в походах по стране, и везде, куда бы он ни приходил, он собирает народ, помогает ему не совершать плохие дела, призывает грудью стоять против всякого врага, будь то амалекитяне, филистимляне или аморреи. Одно у него желание — объединить разрозненные колена Израилевы в единый народ в своей стране. Но человек этот уже стар, и нет у него сил выполнить это желание.

Острая боль тронула сердце Саула, когда он подумал о распрях в народе, разделенном на отдельные колена. Бывает, что одно колено притесняет другое, и нет пока у народа избранного места, куда бы устремились все для поклонения и приношения жертвы единому Богу. Скиния покоится где-то там в Кирьят-Иеариме, в наделе Иехудовом и Биньяминовом, и постепенно забывается народом. Только провидец приходит трижды в год в дом Ахимааца поклониться и проверить, все ли хранится в ней, как положено.

Неужели нету спасителя у Израиля? Что могут сделать эти посвящающие себя служению и очищению в Иордане, готовящиеся к пророчеству и распеваящие стихи? Разве песнями будет спасен Израиль? Захочет ли Бог спасти народ, у которого нет готовности в сердце, нет единой воли и у которого рука не крепка?

Саул ускорил свой шаг и шел так, покуда не

приблизился к смоковнице, бросающей длинную тень на дорогу, во всю ее ширину. Он остановился в освежающей тени, дожидаясь отставшего слугу и, стоя так, услышал голос, обращенный к нему из кроны смоковницы. Слова эти опьянили его и вселили в душу страх перед будущим.

VIII

С приближением вечерней молитвы они прибыли в город Хорон, где стоял небольшой алтарь с устремленной в небо башенкой. Когда подошли они к воротам города, вырос перед ними филистимский страж и преградил им дорогу. Оглядев их, страж спросил:

— Вы ведь не жители Хорона?

И ответил ему Саул:

— Вы хорошо разглядели нас, мы — люди прохожие и направляемся в сторону Шалиши.

Сказал им стражник:

— Нельзя ни войти, ни выйти из города, повсюду расставлена стража. Только вчера военачальник обложил город: провинились его жители, не внесли полагающейся дани наместнику филистимлян. Три дня и три ночи город будет закрыт для входа и выхода, пока не предстанут пред военачальником виновные в неуплате налога для наказания их плетми. И уплатят они вдвойне. Только тогда откроют южные ворота для входа и северные — для выхода. Если вам необходимо войти, сидите тут и ждите; если это вам не по душе — обойдите тропу и поднимайтесь по горной дороге с запада и так дойдете до гор Эфраимовых. Старайтесь не уклоняться к востоку, а не то попадете в зубы собаке-амалекитянину. Я сам еврей и кормлюсь службой у филистимлян.

Тогда Саул сказал Ахье так, что это слышал и стражник:

— Не ступит нога свободных людей на землю рабов. Следуй за мной!

Отойдя весьма далеко от города, они увидели под деревом человека, погруженного в молитву. А на самом дереве, среди мощных ветвей, было устроено ложе в виде гнезда для взрослых орлов, в котором может свободно поместиться и человек. Они подождали, покуда человек не закончил свои молитвы, а потом приветствовали его, и Саул спросил:

— Что за гнездо устроено на этом дереве, я подобного нигде никогда не видел.

Человек ответил:

— Досточтимый чужестранец, ты, наверно, не знаешь, что имя ему Маном*. Посмотри на дерево, его тоже зовут Маном, а рядом еще одно такое же, с таким же названием.

— Для какой цели устроено такое большое гнездо?

— Для сна людям, как видно из его названия — "Маном", чтобы люди сладко дремали в нем. Так заведено в наших местах: в кроне, среди густых мощных ветвей дерева устраивать ложе для уставших в пути странников, путешественников, не успевших войти в город до наступления темноты. Пусть отдохнут тут и пойдут дальше. Ночью в этих местах небезопасно, бывает, что нападут на человека гиены из долины и загрызут его. Я заберусь на это дерево, а вы ступайте к тем двум деревьям — отдохните там в безопасности. Я полагал заночевать в Хороне, но филистимляне закрыли город, не дают никому ни войти, ни выйти.

Человек быстро полез на дерево, держась за ствол и руками и ногами, и улегся во весь рост в Маноме.

— Очень хороший обычай, — сказал Саул Ахъё, — почему бы не завести такое во всех наделах Израилевых?

* Маном — от слова *ланум* ("дремать").

Они доели все, что осталось у них в котомке, и забрались на ночь на деревья. Полночи пролежал Саул в гнезде на могучем дереве, устланном сухими листьями, и глаза его блуждали по звездному небу. Когда сон одолел его, ему приснилось, что он призван создать царство в Израиле. Сон не отступал от него до восхода солнца, и проснувшись, он почувствовал себя другим человеком. Саул верил в сны...

IX

Они шли по следам, но не задерживались, торопились как можно скорее попасть в окрестности Шалиши. К полудню, в самую жару, прибыли они в Шалишу, единственный город в стране, где еще оставалось много мастеров по гончарному делу и по металлу. Тут изготовляли сабли, кинжалы, разные боевые доспехи из железа и меди, а потом продавали их филистимлянам, аморреям и амалекитянам. Израильтянам же не продавали, подчиняясь приказу филистимского наместника. Шалиша слыла богатым городом, большинство ее обитателей оставили сельское хозяйство и занялись изготовлением оружия. Сады и огороды заросли сорняками и терновником, высохшими в летние месяцы и разраставшимися диким цветом во время дождей. Состоятельные горожане опоясывались ремнями, украшенными серебром и медью, а в уши вдевали кольца из чистого золота. Горожанки Шалиши слыли модницами, славились красивой осанкой, и все украшения Тира и Дамаска сверкали на них. Дома у многих были каменные, а один дом даже из гранита с зубчатыми стенами. Это был дом главы города. О жителях города говорили: "Опытен в денежных делах, как уроженец Шалиши".

Только приблизились они к воротам города, как два молодых человека приятной наружности вышли им навстречу, протягивая руки в знак дружбы и

расположения. Лбы их были как будто отполированы жарой, на лицах сияла радость. Увидя благородную осанку Саула, слугу, идущего за ним на некотором расстоянии, они переглянулись между собой в удивлении и остановились перед пришельцами, как бы преграждая им путь. Затем один из них сказал:

— О, благословенны входящие в город! Вы — мужественные люди и принесете нам удачу.

Саул не знал, говорят они это так, по простоте душевной, или насмеваются над ними, так как они производили впечатление людей ненадежных, да и в глазах у них затаилась насмешка. Саул сказал им:

— Я сын Киша из Гиват Биньямин. Мы с моим слугой разыскиваем двух наших убежавших ослиц. Многие говорили нам, что они убежали в эти края. Если вам что-то известно о них — скажите нам, и мы убедимся, что вы люди благочестивые.

— Ослицы! — воскликнул один из них. — Город наш полон двуногих ослиц, и если не найдете своих беглянок, сможете получить тут вместо них множество других, таких, которые не убегают от тех, кто их ищет. Не так ли, Хадад?

— Почему бы вам не обратиться в Сихем и не попросить дочерей Хамора, господина и главы города? Не так ли, Хазал? Почему вы делаете такие большие глаза, услышав наши арамейские имена? И наш праотец Авраам был арамеец, и праматерь Сара — арамейкой.

— И Ривка, и Рахель и Леа, — подхватил вслед за ним с простодушной горячностью Хазал.

Ахье спросил их:

— Можно ли отдохнуть у вас в доме приезжих до спада жары?

— У нас на севере говорят не "дом приезжих", а "дом нежных", — ответил ему Хадад наставительно. — Вчера только был у нас провидец, хотел собрать всех мужчин для проповеди, как он это обычно де-

ляет, но ни одна душа не пришла на собрание, кроме двух старцев, не знающих осторожности и страха. Знаем мы его, этого провидца, и все его речи и весь тот вздор, который он мелет слушателям от Дана до Беер-Шевы.

— Не понимаю, почему его называют провидцем, когда он не видит даже того, что творится вокруг него, — попытался сострить Хазал.

— И ничего не слышит вокруг себя, — подхватил Хадад.

Затем Хазал обратился к Саулу:

— А много ли денег у тебя в поясе? Если есть, продадим тебе сверкающий нож с рукояткой, чудесно отделанной серебром и красной медью. Он услада для глаза и верное средство от любого врага. Однако знай, что цена ему высокая.

— Мне нужны только мои ослицы, — ответил Саул. — Я готов вознаградить всякого, кто поможет мне найти их. Пять сиклей серебра отдам.

— Пошли, Хазал, — сказал Хадад, — вот ты и убедился, что эти двое пришли в пустыню, узнать, колышется ли гнездо при ветре.

— Нет, они пришли в гористую местность, посмотреть, действительно ли ручей стекает с горы в долину. Пошли к жене Ова, пусть она скажет, кому из нас двоих достанется дочь Ханаанея, девица, мучающаяся от угрызений совести.

Они ушли, язвительно смеясь и даже ни разу не оглянувшись и не повернув к ним головы на прощание.

— Нам тут делать нечего, — сказал Саул своему слуге, — люди здесь злые, несправедливые и без Бога в душе.

Проходя по улицам города, они удивлялись количеству кузниц и мастерских, оглушительному перестуку молотков и кувалд, оружию, громоздившемуся вдоль стен, как гроздь саранчи, смотрели, как толпятся чужеземцы вокруг купцов и, торгуясь, выбирают нужный себе товар.

Саул подумал: "Вот если бы такое оружие попало в руки еврейских парней, воинов из колена Биньямина. Будь я воин, первой моей заботой было бы осадить Шалишу и захватить это огромное количество оружия".

Ахъё набрался смелости и обратился к своему господину:

— Вот, мы потратили уже четыре дня в поисках ослиц и ничего о них не узнали. Люди, которых мы спрашивали, только насмехались над нами, а многие нарочно направляли нас по ложному следу, говоря: "Идите на север, идите на юг, здесь мы слышали, там нам говорили". Отец ваш, как я полагаю, забыл об ослицах и тревожится теперь о нас — все ли у нас благополучно. До каких же пор мы будем сбивать ноги в поисках? Не пора ли нам вернуться домой?

Саул посмотрел на него испытующе и промолчал, но через некоторое время сказал:

— Если даже я не найду наших ослиц, найду, как я думаю, что-то, имеющее куда большее значение. Следуй за мной и не смей говорить ничего подобного.

Саулу теперь было легче идти, чем в начале пути, ветер будто подхватывал и нес его в нужном направлении.

Ахъё отставал, и Саул часто поджидал его, сидя на камне.

На перекрестке дорог, между деревней и небольшим городком, они наткнулись на маленький храм, наполовину разрушенный, с разбитыми окнами. На плоской крыше храма и по краям стен росла трава душицы. На каменном пороге сидел, закрыв лицо длинными тонкими загорелыми руками, старенький служитель, в ветхой одежде и босой.

Приблизившись к нему, Саул тронул его за плечо и спросил:

— Что с вами, господин?

Старик открыл лицо, вглядываясь красными от

слез глазами в красивого юношу, стоявшего перед ним, и сказал:

— Здесь Божий храм, сын мой, с давних времен. Многие говорят, что храм построен во времена Иисуса Навина. В нем был и эфод*, и домашние боги, и священные подсвечники, и занавеси, тканые золотом, а в стенных нишах множество книг, написанных нашими предками. Пришли филистимляне и надругались над храмом, разграбили все, что в нем было, оставили только алтарь для жертвоприношения. Теперь никто не приходит сюда принести жертву, никто не приходит, чтобы облегчить душевные муки молитвой. Я один служу здесь Богу. Вот уже сорок лет ежедневно прихожу и оплакиваю эту святыню и молюсь, чтобы Он восстановил разрушенное. Вот — причина моей грусти и плача моего.

И вдруг осенило Саула и сказал он старику так:

— Потерпите еще немного, почтенный старец. Немного осталось до той поры, когда филистимляне побегут от израильтян к морю и Храм в Шило восстановит из праха, а из Кирьят-Иеарима вернется в него Скиния (мысленно в этот момент он видел Ахиноам, пляшущей перед Скинией), и потомки Элии, священники, внесут туда Урим и Тумим, предназначенные украшать священника при богослужении. Ты же, старец, доживешь еще до дней радости и самолично увидишь благочестие, вернувшееся в дом Божий, будешь там прислуживать, дни твои потекут в радости вместо траура и печали.

Ахъё в изумлении слушал слова своего господина, вещавшего, словно настоящий пророк, и проникся к нему еще большим почтением, но в сердце его поселился страх.

Перед тем, как им удалиться, Саул дал старцу серебряный сикль и сказал ему:

— Я знаю, что в доме твоём нет хлеба. Возьми

* Эфод — облачение первосвященника.

это от меня и предстанешь предо мною, когда буду господином над всей страной этой.

И старик благословил его, распростер над ним руки и, склонившись, поцеловал полу его одежды. Ни Саул, ни Ахъё не знали, что идут вокруг горы, и что двигаясь на запад, они возвращаются на юг.

На обочине дороги они нашли мальчика, лежащего в пыли. Весь избитый и израненный, он метался от боли и стонал. А недалеко на дороге они увидели всадника, разодетого в яркие одежды, верхом на упитанном и ухоженном муле; и казалось, что мул пританцовывает под всадником под звуки литавр, а всадник с наслаждением движется ему в такт. Вот уже всадник далеко, еще мгновение, и он исчезнет из виду.

Саул поспешил к мальчику, поднял его и, держа на руках, с участием стал расспрашивать, кто и почему его обидел. Мальчик, не в силах вымолвить слово, горько расплакался, а потом, немного придя в себя, рассказал добрым людям, что всадник Авадон, владелец всех окрестных виноградников, живущий в летние месяцы на холме, в хорошем доме, причинил ему зло. Мальчик шел по дороге в город, чтобы продать там немного зелени и яиц, что дала ему в корзине мать-вдова, а навстречу ему скакал Авадон. Остановил тот его и спросил, что у него в корзине, и сказал, что купит все, если ему понравится. Мальчик протянул ему корзину, Авадон долго рассматривал, проверил все содержимое и, убедившись, что зелень свежая, а яйца крупные, поставил корзину себе на седло, пришпорил мула и быстро поскакал. Мальчик бросился за ним, заливаясь слезами и крича от обиды. Авадон повернулся к нему и стал бить его плеткой, пока не пошла кровь и мальчик не упал на дорогу. Как же он теперь вернется к матери, дома нет ни хлеба, ни масла, а у нее четверо малых детей в семье, не считая его самого, самого старшего!..

Саул отнес мальчика к тропинке, ведущей к его деревне, спустил с рук, дал монету и так сказал ему:

— Возвращайся к своей бедной маме и скажи ей, что встретил по дороге одного господина, который купил у тебя все вместе с корзиной за эту вот монету, и тогда мать не будет на тебя сердиться. Не говори, что тебя ограбили да вдобавок избили, позор это для израильянина.

Мальчик поднял на Саула глаза, полные слез, и с улыбкой сказал:

— Ладно, я скажу маме, что скатился с горы на острые камни, разбился до крови, и пусть не огорчается из-за злого Авадона, все равно ведь некому воздать ему злом за зло.

Сердце Саула залилось радостью при этих словах, и он ответил мальчику:

— Ты умный мальчуган. Хорошее у тебя сердце. Когда я стану владыкой этой страны, явись ко мне и станешь другом царя.

Он поцеловал мальчика в голову и велел торопиться домой.

XI

Пища, которую Саул и Ахье взяли с собой, кончилась, и они направились в сторону корчмы, чтобы подкрепиться.

Когда молодые люди сидели за едой, в дверях показалась бедная женщина, подол ее платья волочился в пыли, на голове была поношенная шаль, а лицо татуировано и расписано мелкими точками. Певучим голосом она стала просить разрешения погадать кому-нибудь.

Люди за столами распивали подогретое вино, настоенное на пахучих пряных травах. Посмотрели они на женщину, развеселились и пригласили ее войти внутрь погадать им и рассказать, что их ждет. Когда она вошла, смешались голоса смеющихся и

сомневающих людей. Стало так шумно, что гадалки не было слышно. Очень скоро смех и шутки перешли в ссору, люди стали ругаться друг с другом и даже драться, и вся корчма забушевала и зашумела. Гадалка начала кричать, что ее придавили, и она не может выйти из круга. Какой-то молодец вызволил ее из беды. Она вышла в порванной юбке, с всклокоченными волосами и громко проклиная всех и вся, так как не получила никакого вознаграждения. А в корчме буря все не утихала, драка не прекращалась, а на умоляющие возгласы хозяина никто не обращал внимания.

Саул уплатил за еду и вместе с Ахьё вышел.

Они уже были в конце городской улицы, когда эта женщина настигла их и, как будто ничего не случилось, предложила им своим певучим голосом остановиться, чтобы она могла погадать им:

— Я видела, что вы люди симпатичные и не похожи на тех, что сидят в корчме. Остановитесь, я погадаю вам, расскажу вам вашу судьбу за малую плату.

Они подождали, пока она подошла к ним, и Саул сказал ей:

— Не принято у сынов Иакова гаданье. Зачем мы станем нарушать этот обычай, да и не лежит у нас к гаданью сердце. Поэтому возьми монету и иди домой, а если у тебя дети, купи им еду и накорми их. Найди себе работу в поле или дома, любую работу, на которую ты способна, и не смей больше гадать, не грешь. Близок день, когда во всех границах Израилевых будет полностью и повсеместно запрещено всякое чародейство и гаданье.

Ахьё добавил от себя:

— Следуй словам этого господина, и будет тебе благо.

Женщина взяла деньги и повернула в сторону города, немного отдалилась от них, обернулась, показала язык и стала выделять своим телом непристойные движения.

Саул сказал Ахьё:

— Когда я стану господином этой страны, я положу конец всяким гаданьям, чародейству, колдовству, израильтяне будут уповать на одного лишь Бога, на великодушные сердца и силу рук, данные им от Бога.

— Даст Бог, и сбудутся все слова твои, господин мой! — сказал Ахьё.

XII

Оттуда они прибыли в город Раму, который находится на земле Цуф, — город провидца. И было то под вечер, перед заходом солнца, когда земля вся была освещена его лучами. Издали им показалось, что будто стадо черных верблюдов расположилось на отдых, но, приблизившись, они разглядели, что это не верблюды, а шатры пастухов, прибывших сюда из пустыни пасти свое стадо после жатвы, как это издревле было принято у отцов их. Был разгар лета, и вся трава в пустыне выгорела.

— Пойдем к пастухам и заночуем у них, — сказал Саулу Ахьё. — У нас и деньги кончились, в сумке всего две монеты в четверть сикля каждая. За четверть сикля нас накормят, а на вторую монету купим себе пропитание на обратную дорогу.

— Мы ведь до сих пор так и не нашли следов ослиц, — сказал Ахьё своему господину, желая тем убедить его вернуться домой.

Ничего не ответил Саул на эти слова Ахьё, которые он просто не желал слышать.

Пастухи впустили их с радостью и сердечной простотой, усадили в самом центре лагеря, у костра, вокруг которого расположилось все стадо. Над костром, на металлическом пруте висел медный котел, охваченный со всех сторон пламенем. Было слышно, как булькает в нем вода и позвякивает крышка, и резкий запах, исходящий из котла, ударял в нос.

Саул и Ахъё с удивлением переглянулись: они никак не могли определить по запаху, что варят пастухи.

Старший пастух сказал:

— Это — напиток, который мы переняли у кочующих измаильтян из пустыни Негев. Он изготовляется из трав, он горек, но приятен и поддерживает усталого человека.

Сидящие в кругу пастухи всячески старались подтвердить сказанное старшим пастухом.

Один из пастухов поднес гостям масло и лепешки с сыром, сушеные финики и горячее молоко, затем каждому дали в глиняных сосудах немного горькой настойки. Саул и Ахъё попробовали отпить этого напитка, но горечь пришлась им не по вкусу, и они отставили в сторону поданные им сосуды.

Пастухи смеялись, а старший из них сказал:

— Не привыкли вы, сыны мои, к этому напитку. Он и нам вначале казался горьким, но постепенно, после того как попробовали мы его несколько раз, горечь превратилась в сладость, и теперь мы все пьем его с наслаждением.

Сидящие вокруг подтвердили это.

Беседуя о том о сем, Саул убедился, что пастухи не лишены мудрости.

Седой пастух рассказал, что говорят в народе о провидце: что иссякают у того силы вести паству, что не может он больше быть поводом своим народу, как в прежние дни, а между тем филистимляне подняли голову, амалекитяне, аморреи и амонитяне втайне плетут козни, чтобы напасть на Израиль и подчинить его себе. Сыны наши грешили в бытность их судьями в северных городах, переняли от чужаков их нравы и повадки, поселились возле Беер-Шевы и там тоже сдружились с племенами пустыни, сынами арабскими, умножили табуны и стали брать в жены дочерей тех племен, а своих братьев, евреев, стали давить непосиль-

ными налогами. Народ больше не внимлет словам провидца, хотя еще и боится его суда. Есть много таких людей в пустыне и на равнине, которые требуют от провидца, чтобы он поставил царя над Израилем. Они хотят царя, который будет судить их и водить их на войну, и тогда они станут, как все народы, и преуспеют.

Когда Саул спросил старика, что он сам думает об этом, ответил ему старик:

— Мы — потомки колена Реувенова, скотоводы, а не воины. Много лет сидели мы спокойно на своих пастбищах и жили по законам скотоводов, а теперь нас притесняют сыны Юга, промышляющие грабежом на своих быстроногих верблюдах, а верблюды их приучены к войне. Одна у нас надежда на наших храбрых братьев из других колен. Если сочтут они правильным, чтобы над ними властвовал царь, который устршит кабанов и волков среди нас и вовне, то и нам будет хорошо, и мы дадим на это согласие и будем жить под его защитой, пасти наши стада и жить, как все наши братья. До нас дошло, что провидец вернулся из Беер-Шевы и завтра будет большое жертвоприношение в Раме. Может быть, на этом празднестве и свершится что-то.

Помолчав немного, как бы проверяя свои слова, он продолжил:

— Но кто тот муж в Израиле, что удостоится царства? Полагаю, что не сын Рами будет царем. Может, такой, как ты, приятный, молодой, красивый и смелый, превосходящий многих в народе ростом, может, такому скажет провидец: "Царствуй!" — и народ последует за ним. Прости мне эти слова, я размечтался. Если я даже и ошибаюсь, все равно я сказал это без умысла льстить и говорить неправду.

Только старик кончил говорить, глаза всех обратились к Саулу, такому красивому и располагающему к себе, и им показалось, что он сияет цар-

ственной красой. Многие подошли ближе и стояли вокруг, разглядывая пришельца, явившегося к ним так внезапно, словно посланник с неба. Женщины и девочки стали тесниться к центру костра, чтобы при свете его лучше видеть красивого и смелого человека. Они так потеснили пастухов, что один из них поднял над головой горящий факел, выговаривая людям за их любопытство, и дымом стал разгонять толпу. Женщины побежали, визжа от страха, как испуганное стадо гусей, убегающее от диких лесных зверей.

Долго сидели пастухи и разговаривали с Саулом о том о сем, покуда костер не потух. Только головешки и тлеющие угли светились чуть-чуть в темноте, а потом и они превратились в пепел. Саул молча смотрел вдаль. С гор подул холодный ветер и обдал сидящих пастухов пылью. Старик встал, а за ним все остальные. Встал и Саул, показавшийся им великаном.

По указанию старика Саулу постелили в отдельной палатке.

Приснился Саулу сон, будто он со своими войсками расположился лагерем в походе против необрезанных, будто весь день воевал он с врагом и многих успел перебить, и храбрецы его истребили множество вражеского войска. Теперь они отдохнут до рассвета, чтобы набраться сил для предстоящих битв, и будут они биться, пока не уничтожат врагов во всей округе. Только тогда он вернется на Гиву, в город своего царства, к своему народу, в дом свой, к Ахиноам, своей желанной, к сыновьям и дочерям, которых она родит ему. Он будет долго царствовать в Израиле, весь народ будет оказывать ему почести, покорно следуя его словам и решениям и выполняя все его указания. И отец его, Киш, и Шломот, мать его, и старая Наама будут считать для себя счастьем жить с ним в одном доме.

Наутро Саул и Ахье попрощались со своими доб-

рыми, гостеприимными хозяевами-пастухами, вышедшими проводить их в дальнейший путь.

Когда они остались одни, Ахъё так сказал Саулу:

— Прости, господин, слова раба твоего. Скоро в город явится провидец на празднество жертвоприношения, а это будет праздник для всех — там каждому найдется место и каждый будет принят там, как свой. Давай и мы отправимся к нему, расскажем о нашем злоключении с ослицами. Возможно, он посоветует, как нам найти их. Но вот беда — что мы принесем провидцу, ведь в котомках у нас пусто, кончилась еда, нечего нам поднести божьему человеку в дар. В котомке у нас всего четверть серебряного сикля, но такой маленький подарок даже стыдно ему нести.

Саул посмотрел на него отсутствующим взглядом и сказал:

— Завтра я предстану перед провидцем, следуй за мной!

И оба они направились наверх, в Раму.

XIII

Самуил*, сын Элканы, провидец, левит, следовал священным традициям: он был судьей и священником и часто вещал перед народом. После спасения еврейских колен возрос его авторитет в народе, слава его распространилась от Дана до Бера-Шевы. Спокойная в течение многих лет жизнь в Шило сделала его степенным, уравновешенным; прежде, чем совершить что-либо, он хорошенько все обдумывал, взвешивал. Любой гнев он умел скрыть, заглушить внутри себя, не давал ему вырваться наружу. Равного ему по самообладанию не было во всей стране. В сердце Самуила жила только одна мысль: чтобы народ израильский следовал заветам

* Самуил (*Шмуэль*) — вероятно, от слов *шама эль* — "услышал Бог".

Торы, учению Моисея, чтобы все были связаны святыми обрядами, знали ученье Божье и соблюдали Законы Его. И если ему посчастливится, он опять построит Храм в Кирьят-Иеариме, внесет туда Скинию, священные реликвии, нагрудник первосвященника, чтобы Храм этот стал известен и прославил благочестивый народ. Не из жалких досок и полотна, а из кедрового дерева и камня построен будет этот Храм, и будет он домом избранных, куда устремятся люди со всех концов страны черпать там веру и святость. Не царь-человек, как это принято у других народов, будет царем Израилевым, а Бог на небесах будет их царем, а Святой человек, исполнив Его волю, будет защитником Израиля на земле, вождем страны. Однако с течением времени сердце его преисполнилось сомнениями. Ему перестало казаться, что он сможет сплотить израильтян в единый, святой народ, отличный от соседних, во всем следующий заветам предков. Ведь сейчас только немногие понимают Священное Писание, а не знающие законы предков не отказываются от права на свою долю в стране. Они умеют только требовать, а на деле, если судить по поступкам, ведут себя, как чужие.

Тогда он создал в Раме школу пророков, по подобию касты жрецов, но только для праведников из народа. Однако среди избранных им мало было таких, которые своим поведением и манерами отвечали требованиям справедливости. Только малое число их выполняло свое предназначение от всего сердца, честно, большинство же, хотя внешне и походило на аскетов, искало лишь удовлетворения своей похоти везде, где было возможно. У них в потайной комнате даже нашли женщину, с которой они блудодействовали. Он вспомнил членов семьи Элии, их прегрешения в Храме в Шило, и сердце его зашлось от страха и отвращения.

И Храм не мог он построить, как ему хотелось, хотя люди щедро несли подаяния и серебром и зо-

лотом. Рука чужеземцев-завоевателей из отдельных провинций страны тяготела над ними. Между Иуде-ей и Эфраимом не улеглись распри из-за места для Храма. Сыны Иехуды говорили, что только в их на-деде место для Храма, который будет издавать законы, мирские и духовные, а сыны Эфраимовы — что место для Божьей Скинии именно в Шило, и только там ей стоять. Самуил не мог заставить стороны прийти к согласию, примирить вождей этих колен, да и сам страшился стать на чью-либо сто-рону в этом споре. Он не мог приходить с пропо-ведями к северным коленам Израилевым по причине их отступничества от божественных повелений и законов, ибо они глумились над ним.

Случилось то, чего он больше всего боялся: в его собственном доме завелась эта напасть. Оба его сына, на которых он возлагал такие надежды, не пошли по его пути, не захотели следовать по-велениям Божьим и соблюдать Его законы. Только удовольствия и сиюминутные радости жизни тешили их сердца. Его горе усилилось еще и тем, что же-на его поощряла поведение сыновей, нимало им не огорчаясь.

Бывало, вопрошал он в душе своей: вот хранят-ся у меня избранные произведения, любимые моим народом, нет недостатка в законах и его толко-ваниях, но кому, кому оставлю все это, кому по-ручу, кому передам? Что будет со всем этим? Что станет-ся с нами, если превратимся в людей, за-ботящихся только о хлебе насущном?

Вражда с соседями, хотя и не прорвалась еще наружу, грозила каждую минуту обернуться войной. Соединятся филистимляне, амалекитяне, аморреи и даже арамеи и вступят в союз против Израиля. Они обязательно сплотят свои силы и одним фронтом, единым плечом, обрушатся на разобщенный Израиль, чтобы попытаться уничтожить его.

Со всех сторон доносятся до него все крепнущие голоса: "Дай нам царя! Мы хотим быть, как все

народы!” Настойчивее всего этого требуют люди, вступающие в торговые отношения с другими народами, уходящие промыслить в разные страны и на близлежащие острова. Возвращаясь из Дамаска, Кипра и Месопотамии, они не устают рассказывать о красоте строений, о высоких крепостных стенах, поднимающихся до небес, о традициях и нравах в разных странах, о богатых домах и знатных людях, о многочисленных войсках, их оснащении и готовности воевать ради расширения границ. Обо всем этом они рассказывают с завистью, а слушатели их переполняются суетным желанием покончить, как им кажется, с жалким положением и сделать что-то, дабы возбудить почет и уважение к Израилю.

Возможно, что и в самом деле правы те, которые требуют, чтобы стал над народом царь, и, может быть, именно таким путем удастся превратить государство в процветающее и преуспевающее, поднять его авторитет среди других народов?

Но он, Самуил, однако, хорошо себе представлял, сколько зла ожидает народ, если над ним будет поставлен царь. Он ясно представлял себе, что такое царская власть, господство над всеми и всем. “А может быть, благодаря царю удастся укрепить не только государство, но и Тору, слить Материю и Дух воедино? Неужели он не сможет написать такие законы, чтобы они стали основой государства, чтобы они превратили царя в помазанника Божия, который во всех своих делах будет руководствоваться учением Бога и повелениями первосвященника? Да, надо написать такой закон! Но кто может поручиться, что царь постоянно и неуклонно будет ему следовать, что не пойдет он на поводу своих низменных желаний и злого сердца, что не станет самовольно поступать с народом по желанию своему? Тогда народ превратиться в раба, и назначенные царем военачальники и поставленные над народом чиновники будут поддержи-

вать в царе злую волю против своего народа”, — думал провидец.

Не было мира в душе Самуила. Он все время взвешивал доводы за и против. Иногда ему казалось, что царь, стоящий над народом, будет народ угнетать и, притесняемый, народ отойдет от заветных святынь; а иногда ему казалось, что царь, вознесенный над народом, возвеличит и народ, принесет порядок и благополучие государству, и заслужит оно у соседей славу гордого льва. Может быть, так и будет?

До сих пор ни с кем он не делился своими мыслями и сомнениями, даже с лучшими своими учениками в Найоте, на которых он возлагал большие надежды, веря, что именно они унаследуют дух учения. Ничего не говорил он им, хотя иногда ему очень хотелось поговорить с ними. Когда-то он думал о своем первенце Йозле, о том, что, возможно, он и возглавит государство; впоследствии он стал взвешивать шансы второго сына, Авия, но потом отказался от обоих. Ни один из них, как он понял, не обладает качествами, нужными для такого поприща, тем более, что и в Беер-Шеве они показали себя с дурной стороны. Он стал присматриваться к Гаду, к тому самому Гаду, которого его друзья называли прорицателем. Но Гад этот выглядел жалко — ни осанки, ни вида, мал ростом, хром, да и болезненный. Такого народ не признает, не станет почитать, не будет бояться. Если уж Богу угодно, чтобы над его народом был царь, — так пусть это будет мужчина благообразный, привлекательный, степенный, потомок людей, чтимых в народе.

А ведь нет смелее героев, чем сыны из колена Биньямина, о котором еще Иаков говорил, что он ”как волк, готов растерзать врага, утром он ест свою добычу, а к вечеру делит трофеи”... А каков тот человек, которому подобает быть царем над народом своим? Он должен обладать бесхитростным

сердцем, быть чистым духом, хотя и не учить все время Тору, но быть готовым соблюдать все предписания Завета и то, чему будет учить его провидец. Он должен быть сильным и в то же время честным, обладать и мощью, и верой. Народ будет бояться и почитать его, в нем найдет одновременно и господина, и брата, близкого всем, но соблюдающего должное расстояние. Человек этот будет честно править народом до последнего вздоха. Будет делить с рядовым солдатом все тяготы военных походов. Будет, как факел, как светоч, освещающий путь смелым воинам в их битвах с врагом. Он будет тем человеком, ради которого люди будут жертвовать собой для блага народа, и будут делать это от чистого сердца.

Так и эдак думал обо всем этом Самуил. Куда бы он ни приходил, он был вынужден прислушиваться к голосам, требующим от него поставить царя над народом. Он стал приглядываться к людям, встречавшимся на его пути, узнавать подробности о них, прислушиваться к их речам, может, в ком-нибудь и найдет он того, кого Бог предназначил для великого служения — быть Его Мессией. Искал и не находил. Бывало, покажется ему, что вот он, тот, кого он ищет, но потом понимал, что ошибся.

XIV

Как-то на рассвете, возвращаясь в Раму из Бет-Эля, Гилгала, Мишны и далекой Беер-Шевы, поднялся он в гору верхом на своей маленькой белой ослице. И вспомнил он про дом Киша, что находится в Гиве, хотя и прошло уже десять лет с тех пор, как он в последний раз посетил его. Тогда он ночевал в доме Киша, которого все считали смелым и честным, с чистым, как у ребенка, сердцем, и волей, твердой, как железо. Тогда, перед самым отъездом, Киш подвел к нему своего "мизинца", самого младшего сына, мальчика, которого ро-

дила ему Шломот, его молодая жена, единственного сына, оставшегося в живых после смерти остальных. Никогда до того, нигде во всей стране Самуилу не встречался такой благообразный мальчик, как сын Киша: орлиные глаза, на лице — непорочность и вера, весь — понимание, печатью мудрости было отмечено его лицо. Мальчик притягивал к себе, но вместе с тем и удерживал на почтительном расстоянии, и, несмотря на это, все же что-то влекло, привязывало к нему. Киш сказал, что мальчику десять лет, но по росту ему можно было дать не менее тринадцати. Образ мальчика запомнился ему, не выходил из сердца, и Самуил часто вспоминал его. Иногда ему хотелось снова посетить Гиву, зайти к Кишу в дом, но какой-то внутренний голос его удерживал: не ходи туда — для великого предназначен этот мальчик, тебе еще предстоит столкнуться с ним и узнать его.

Вот и теперь, трусая верхом на веселой ослице в гору и думая о распрях и сомнениях в связи с выбором царя, он вдруг вспомнил облик сына Киша. Он вспомнил, как его ладонь легла на голову этого мальчика, благословляя его. И Самуил даже поднял руки, поднес их к носу и понюхал, так явственно ему показалось, что запах волос мальчика с тех далеких лет трепещет на его ладонях, не выветрился, не улетучился. Он не знал его имени. Киш не назвал его тогда, а Самуил не стал спрашивать, так что имя оставалось ему неизвестным все эти годы. Пока имя это — тайна для него, но наступит день, и он его узнает. Внутренний голос, сердце, подсказывают ему, что день этот близок.

Ослица ускорила бег, почуяв близость дома, стояла и возможность отдохнуть, поваляться, кувыркаясь на траве. Она пошла аллюром, будто желая ускорить темп мыслей седока.

С того дня, когда тревожные мысли о судьбе государства начали преследовать Самуила, то и

дело всплывал перед ним, как видение, образ сына Киша.

Он так запечатлелся в его сознании и так укоренился в его душе, что ему трудно было избавиться от ощущения, что именно на этом мальчике лежит печать высокого предназначения. Когда в нем просыпается критическое отношение к царям вообще, он начинает ненавидеть образ мальчика, желая изгнать его из памяти и сознания. Тогда он видит царя строптивым, непоследовательным, навлекающим беду на свой народ расточительностью и безумными выходками. Страхи и надежды переплетаются в его душе и отражаются в образе того, кого он все время видит перед собой. Иногда он спрашивает самого себя: что, в сущности, особенного в этом мальчике, чем он так отличен от других своих сверстников, почему так запомнился мне? Почему я не могу расстаться с его образом?

В последнее время он все чаще предстает перед мысленным взором Самуила. Хорошо ли это? Десять лет тому назад он услышал его голос, когда тот звал к себе отца и мать, и голос этот потряс его сердце и до сих пор звучит в ушах.

Завтра день великого жертвоприношения на алтаре. Сердце подсказывало ему, что день этот будет необыкновенным. Всю ночь он будет стоять перед Господом Богом в молитве и не сойдет с места, пока Бог не умиротворит бурю в его душе, не успокоит его истерзанного сердца.

Итак, завтра провидец еще раз выслушает пожелания и требования народа, в первую очередь, требование поставить над ним царя. Так настойчиво они его добиваются, несмотря на все его возражения, несмотря на все его уговоры еще и еще раз взвесить свои желания. Теперь он уверился, что воля народа угодна Богу, что народу надо дать царя.

Завтра совершится знамение. Сердце подсказыв-

вает Самуилу, что свершится чудо и что будущий царь (неужели же это будет сын Киша из Гивы?) покажется ему в праздничной толпе. Духовным чутьем он узнает будущего царя.

Его сердце исполнилось величием. Да, он и в самом деле провидец. Божественная благодать, лежащая на нем, поможет ему увидеть помазанника Божьего. Он уже не был в подавленном состоянии духа, как вчера, когда из всех приглашенных к нему пришли только два глухих старца. Это состояние прошло. Исчез и страх. Сердце Самуила раскрылось для радости, подобной которой он давно не испытывал. Тут его взору открылась Рама во всем великолепии лучей восходящего солнца. Утренняя заря разливалась по всей земле, и алтарь был чист небесной чистотой накануне праздничного жертвоприношения.

Придя в Раму он не открыл свои сокровенные мысли ни священникам, ни левитам, помогающим готовить алтарь для жертвоприношения, даже левитам, ждущим его распоряжений и указаний, и Гаду он не сказал ничего. Он только сообщил им, что завтра будет большое жертвоприношение, и для него соберется великое множество народу и, с Божьей помощью, многое откроется собравшимся.

Он велел молодому красивому левиту с приятным голосом пройти по всем улицам и оповестить народ, восклицая:

— Примите благую весть Божью! Провидец вернулся из Бет-Эля, Мицпы, из Гилгала и Беер-Шевы. Весь народ от мала до велика призывается в эту ночь очиститься омовением и утром подняться к алтарю для участия в великом жертвоприношении, которое состоится днем. Так передает провидец! И да возрадуются все!

Провидец послал гонцов в наделы Иехуды и Биньямина и Эфраима, чтобы и те приняли участие в этом празднестве.

Рама шумела от множества народа и скота. Весь город нарядился по-праздничному. Толпы людей прибыли из окрестных деревень, городов и отдаленных селений. Купцы раскинули торговые палатки со всевозможными товарами, зазывали покупателей, продавали напитки и сладости, семечки, расхаживали среди толпы и криками расхваливали свои лакомства. Около тридцати человек — главы колен, представители народа и почтенные люди, приглашенные на торжество, одетые по-праздничному, — поднялись по ступенькам алтаря вместе с провидцем для совершения обряда.

Дядя Самуила, староста Рамы, пожертвовал из своего стада нежного упитанного теленка, которого специально откармливали три месяца для жертвоприношения. Теленок был убран фисташковыми ветками, полевыми цветами; литавры и барабаны громко звучали на всем пути его следования. Теленка связали и принесли к алтарю для заклания, отмыв до блеска до того в нескольких водах.

На подмостках вокруг главного алтаря и вдали от него стояли небольшие алтари, сложенные из камня и глины, предназначенные для второстепенных жертвоприношений, для домашних обрядов. Их было много, очень много.

Сельские жители привезли с собой в мешках и сумках много вкусно приготовленных овощей к мясу, лук, специально выращенный длинноперый чеснок, кабачки, спелые сочные арбузы, латук, сельдерей и пахучую петрушку прямо с грядок, всякую зелень, тушенную с пряностями в масле. Всем этим торговали, угощали друг друга, раздавали бесплатно любому желающему.

Жатва была почти закончена. Год выдался урожайный, и народ был в приподнятом настроении. Виноградные лозы были хорошо ухожены и тоже предвещали богатый урожай. Гроздья винограда,

хотя еще не налились соком, подпирались подпорками и по тяжести равнялись финикам. Этот год даст много вина для возлияний в честь Бога и увеселения людских сердец.

От народа не было скрыто, что сегодня случится что-то важное. До сего дня нельзя было припомнить другого такого пиршества, такого веселья, звуки барабанов, рогов, блеяние овец, мычанье коров раздавались со всех сторон.

Там и тут расхаживали звездочеты, предсказатели будущего, костоправы и знахари, заговаривающие нарывы и раны. Среди них были и ханаанеи, предлагающие разные снадобья и средства, исцеляющие от недугов; никто никому ничего не запрещал, но к ним мало кто обращался, так как все были сосредоточены на главном: на предстоящем великом жертвоприношении, которое должен совершить провидец.

Солнце стояло в зените, но на подмостках дул свежий ветерок, охлаждающий лица, дышалось легко. Ночью на ослах подвезли много дров и наполнили водой бочки и кувшины, расставленные вдоль дорог для нужд людей и скота, и все это было бесплатно — таков был обычай по праздничным дням в тех местах. Обилие воды для утоления жажды всегда вызывало особую благодарность людей устроителям праздника.

Левиты и юноши, приставленные к ним в помощь, приготовили все нужное для жертвоприношения: воду, дрова и соль, сложили костры, установили сосуды для крови жертвенных животных, емкости для разделанных мясных туш и ложки для черпания супа, вилки и ножи для разделки туш. Все надо было предусмотреть и приготовить для той минуты, когда загорятся костры на алтаре и запах жареного и вареного мяса разольется в воздухе.

Ближе к полудню прибыли главы левитов и расположились вокруг большого алтаря. За ними следовали жрецы из разных мест страны, около ста че-

ловек, в белоснежных одеяниях с пальмовыми ветками. Они стали в стороне, между ними выстроились в ряд мальчики-левиты, готовые к услугам и громким хвалебным песнопениям. Когда приблизился посланец, возвестивший приход провидца, ему навстречу вышли около тридцати знатных старцев и глав родов для того, чтобы сопровождать провидца к главному алтарю. Весь народ поднялся и торжественно замолк. Люди поднимались на цыпочки, глядя через плечи стоящих впереди, чтобы не упустить ни одной подробности торжества. Не прошло и нескольких минут, как народ грянул приветствие провидцу, шедшему впереди свиты приглашенных, идущих по обеим сторонам от него. Все смолкло.

Провидец был облечен саном священника, пророка и Судьи. Он шел, не поворачивая головы, но не было сомнения, что он видит всех, собравшихся на праздник, видит каждого. Сердца людей трепетали от сознания торжественности минуты и благоговения перед происходящим. Подумать только, все еще жив старый провидец, почет и уважение к нему не уменьшаются, глаза его еще светлы, а силы не иссякли, он все еще в состоянии подчинять себе людей и обуздывать их желания!

К алтарю были поднесены все приправы для жертвы; Самуил обошел вокруг теленка трижды, проверил, нет ли в нем какого-либо изъяна, чист ли он, провел рукой по его спине и загривку. Прежде, чем повелеть связать животное, он подозвал к себе резника и шепнул ему на ухо:

— Когда разделаешь телка, возьми его голень, не срезав с нее ничего, и сохранишь ее до времени, указанного мною.

После заклания тельца провидец повернулся лицом к народу, намереваясь благословить его, но помедлил. Глаза его блуждали по толпе, что-то высматривая.

Вдруг увидел он юношу высокого роста, приятного лицом, возвышающегося над всеми остальными в

толпе. Глаза юноши были обращены вверх, ноздри учащенно трепетали, вокруг черных волос сиял свет, а лицо было чисто, как очищенный от кожуры гранат, и светилось большой радостью. Рядом с юношей стоял слуга с шерстяным одеялом и сумкой через плечо, похожий на оруженосца.

Дрожь прошла по телу провидца, лицо его покрылось румянцем, как лицо юноши, внутренний голос шепнул ему:

— Вот тот, на котором лежит печать Божия. Он обуздает народ и будет править им.

Его ночные молитвы были услышаны Богом. Знамение Бога не обмануло его. Он посылает своего Мессию в нужный момент. Сегодня Бог удовлетворит желание своего народа.

И Самуил протянул руку в сторону Саула и громко сказал Гаду, стоявшему рядом:

— Пойди и приведи вон того молодца, который стоит рядом со своим слугой; он сегодня откусает вместе со мной!

XVI

Все, написанное в Книге Самуила, точно соответствует событиям из жизни Саула, царя Израиля. Твердой рукой взял он царство, и колена Израилевы, ближние и дальние, были послушны ему.

Ахиноам, дочь Ахимааца, мудрая и прекрасная, стала спутницей его жизни, и она родила ему пятерых сыновей и дочерей. Все они были любимы им, все как на подбор; и первенец его, простодушный силач Ионатан, и Аминадав, Малкишуа, Марав, и маленькая, гордая в любви Михаль. И дочь, и мать его Шломот следили за домом, полным великолепия и достоинства. А Киш, его отец, остался жить в своем доме с Наамой, рабами и прислугой и до последнего вздоха своего так и не мог примириться с тем, что сын его — царь. И так говорил он о нем:

— Почему сын мой не нашел ослиц вместо царства? Тем он доставил бы мне больше радости, и душа моя пребывала бы в мире и спокойствии.

Саул победил Моава и Амнона, Эдома и Цова, филистимлян и даже Амалека, этого врага-притеснителя и угнетателя Израиля, про которого в Торе сказано, что надо стереть всякую память о нем за зло и страдания, причиненные им евреям во время Исхода из рабства египетского. Саул завоевал сердце народа, люди любили его, но и трепетали перед его именем.

Не покори́л он только сердце старого провидца, так как Саул стал казаться Самуилу не тем царем, который нужен народу. Когда он видел Саула, сидящим на царском троне (трон был вделан в стену выстроенного дворца и прикреплен крепкими гвоздями), провидец втайне помышлял найти другого человека, которому можно было бы отдать трон Саула.

И вот явился отрок, никому не известный, вызвавшийся вступить в единоборство с Голиафом. Он сразил филистимского великана и тем завоевал сердце народа. Самуил понимал, что когда филистимляне опять пойдут войной на Израиль, желая отомстить ему за поражение, они вознамерятся завоевать всю страну, и только твердая рука Давида настигнет и поразит их, где бы они ни были. Он видел своим прозорливым оком, как необъяснимая сила толкает этого странного чужого юношу к царскому трону. Он — тот самый человек, который должен царствовать в Израиле, он и дом его по наследству, хотя сейчас все видят в нем только презираемого бедняка.

Ахъё, верный оруженосец Саула, пал в одной из битв, и родственник Саула Гдор, сын Авнера, занял его место.

Саул вел войны не только с внешними врагами, ему пришлось вести борьбу и в собственном доме. С того дня, как в его жизнь вошел человек

по имени Давид, не все у него стало ладиться и с собственными детьми. Ахиноам испытывала даже облегчение, когда он уходил на войну. В их отношениях любовь и враждебность сменяли друг друга. Дошло до того, что душа Саула озлобилась, и не было ни в чем ему покоя, все вызывало в нем раздражение, он жил в постоянном разногласии и разладе с самим собой. Когда душа его насытилась сознанием царского величия, а само царство окрепло, именно тогда в него вселился страх, мучивший и причинявший боль, как рваные раны от орлиных когтей, и никакими способами он не мог избавиться от него. Иногда только, на короткое время, Давид своей игрой на арфе рассеивал злой дух и плохое настроение; потом все начиналось снова с прежней силой, страх неотступно продолжал мучить его.

Больше всех был ему в тягость старый провидец, поступавший наперекор ему, обращавшийся с ним почти грубо и не желавший видеть и слышать его. Провидец только и делал, что посылал к нему пророков с разными запросами и указаниями, которые невозможно было исполнить. Он догадывался о том, что Самуил заодно с Давидом и раскаивается в том, что помазал в свое время Саула на царство. Провидец отвратил от него сердце свое, а теперь своими бесконечными молитвами к Богу отвращает от него и Божье расположение.

После смерти Киша, своего отца, Саул много дней провел в трауре. Он вспоминал пронизательный ум отца, его умение жить настоящей полной жизнью, жить правдиво и поступать во всем по своей воле. Он же не такой, другие склоняют его то в одну, то в другую сторону, а он слушает всех, а иногда никого, и сердце его разрывается от неумения принять самостоятельное решение, поступать только в согласии со своей волей. Вот, позвал его отец перед смертью, положил руку ему на голову и сказал:

— Сын мой, отдай царство Давиду, сыну Ишая, и найдешь покой себе и дому своему, и снова начнешь жить, как человек, который отдал народу своему все, чем Бог одарил его, все, что человек в состоянии отдать. И царь, и народ будут вспоминать тебя добром, будут помнить все хорошее, что ты сделал. В такой поступке они усмотрят проявление твоего благородства, и тебе будет хорошо. Сын, прими жизнь от умирающего отца твоего.

Со вниманием слушал Саул слова отца и вдруг увидел в отцовских глазах слезы. Он качнул головой в знак согласия, но знал, что не выполнит обещанного. В нем горел сильный, как в преисподней, огонь зависти, жажда власти снедала его, и он не мог представить себя без царства, которое досталось ему, как Божий дар.

Только из-за ненависти к Давиду он умертвил священников и разрушил дотла их город Нов, никого не оставив в живых. Все его домочадцы это понимали, но молчали, хотя в глазах у них застыл ужас.

И когда умер Самуил, и весь народ оплакивал его, Саул не присутствовал на его похоронах в Раме, во дворе Элкана, он не был с народом. Его одолела злоба и тоска, он метался из одной комнаты в другую и не мог избавиться от гнева. Когда это чувство его немного отпустило, он сказал самому себе:

— Вот теперь Бог повернется ко мне и осветит светом своим и откроет мне истину.

Но душа его осталась опустошенной, и Бог не явился к нему ни во сне, ни наяву. И через пророков Бог не возвещал ему истину, они говорили ему слова, зная, что они лживые, и сами боялись его после того, как он убил священников и уничтожил город Нов.

И тогда наступил последний рубеж его жизни.

Три дня и три ночи шли ожесточенные бои у подножья горы Гилбоа. Филистимляне вели наступление из долины, а евреи укрепились на горе, лагерь против лагеря, лицом к лицу дрались они, как пантеры и львы, но ни одна сторона не одерживала верх, хотя павших с обеих сторон было великое множество.

На рассвете четвертых суток, еще до восхода солнца, дрогнул израильский строй и стал отходить на гору, а филистимляне стали наступать и теснить израильтян все плотнее и плотнее. Они истребляли израильтян от восхода солнца до полуденной жары, рассеяв по всему склону горы. Под каждым кустом, под каждым камнем лежали убитые и раненые, а оставшиеся в живых бежали кто куда, и не оставалось места, где бы еще стояли хотя бы два воина рядом.

На глазах Саула, ожесточенно сражавшегося вместе со всеми все эти дни, пали от вражеской руки оба его сына, и он смешался теперь с толпой убегающих, с погонщиками скота и прочими, и невозможно было узнать в нем теперь царя и полководца; он даже потерял свой медный шлем, убегая, бросил пояс, выронил где-то свой меч и ему казалось, что Бог мести гонится за ним и нет ему спасения. Он скатился по склону горы, упал на колени и, падая, увидел своего юношу-оруженосца, падающего лицом вниз, чтобы прикрыть его своим телом. Он видел только его и больше никого на всем поле битвы.

Саул впал в забытие. Он не знал, что уже долго лежит так, смертельно раненный, и вся земля под ним пропитана его кровью.

В сумерки, за час до захода солнца, он раскрыл глаза и увидел себя распластанным на пустыре, вдали от селений, среди растоптанных колючек и безмолвных камней, а недалеко от себя

он заметил своего оруженосца, лежащего ничком на земле, уткнувшего лицо в локти, словно заснувшего от чрезмерной усталости.

Саул настолько устал, что не чувствовал боли, не знал, что из ран его вытекло много крови, не знал, что с ним случилось и где он находится. Холод пронизывал все его тело, в мозгу стоял теплый туман.

Так лежал он на земле, и перед взором его проносилось все то, что произошло с ним с того дня, когда он в сопровождении своего слуги Ахъё ушел из отцовского дома на Гиве искать потерявшихся ослиц. Все это пришло к нему, как в ночном сне: ясно, четко и настолько реально, что казалось, можно было пощупать рукой. Неужели все это только видения, видения, которые ему иногда грезились наяву? Возможно ли, что все это произошло на самом деле, в жизни?

Он приподнял голову, чтобы осмотреться кругом, но тут же голова его упала назад, она оказалась слишком тяжелой. Неужели это сновидения давят на него своей тяжестью?

Заходило солнце, погружаясь в море, свет стал тускнеть, но кругом было еще прозрачно. Он видел все в каком-то зеленоватом отсвете. Вот солнечный диск приблизился к круглой вершине горы, еще немного и он закатится за нее. Долина Эмек с ее тучными благодатными полями открылась его взору: деревни, города, разбросанные по всей долине, густые леса, рощи, скошенные поля, дороги, тропинки, ведущие к людским жилищам. Тут и там вьется дымок, подымаясь вверх, в небо.

Ничего подобного он до сих пор никогда не видел, волшебный свет и мирный покой разлился по всему Эмеку. Неужели в своем странствии в поисках потерявшихся ослиц он дошел и добрался сюда, так далеко от родных мест, он и вместе с ним Ахъё?

Тело его как бы погрузилось в сон, но сердце

и мозг бодрствовали. Смешались счастливые и кошмарные видения. Чтобы яснее все видеть, он крепко зажмурил глаза. Вблизи слышались звуки шагов, шум падающих камней, животное сопение. Он медленно открыл один глаз. Сердце замерло, перестало стучать: две высокие белые ослицы ходили вокруг него с опущенными головами, размахивая хвостами, пощипывая зеленую траву между камней.

Неужели правда? Неужели они с Ахьё так далеко забрались, разыскивая потерявшихся ослиц, тех самых двух ослиц из загона его отца? Да, да, так и есть! Они, те самые! Он узнал их. Рослые, белые. Сколько они причинили ему забот и страданий, как они с Ахьё выбивались из сил, сколько раз сбивали ноги, как безжалостно дурные люди направляли их по уже пройденному пути, чтобы не нашли они того, что ищут. И вот теперь стоят перед ним его ослицы. Он видит их так же четко, как небо, распростертое над ним. Вот они обе!

Он весь встрепенулся, невероятным усилием воли, преодолевая боль от ран, повернул голову в сторону своего юного оруженосца, лежащего лицом вниз, и, хотя тот не мог слышать зов Саула, стал звать его:

— Ахьё! Ахьё! Проснись! Проснись, вот наши ослицы, которых мы ищем столько дней, вот они пасутся около нас! Тут они! Проснись, Ахьё, оглянись перед тем, как солнце опустится за горы.

Но юноша не двинулся, не пошевелился. Саул позвал его снова, позвал и в третий раз, но юноша так и не шевельнулся.

— Ничего — подумал Саул, — они больше не убегут. Они спокойно пасутся. Пусть малыш еще поспит, он ведь так устал в наших странствиях. Он ведь таскал на себе и котомку, и одеяла. Пусть еще поспит немного.

А сон продолжал владеть им и волновать его. Был он одновременно красив и страшен этот сон.

Удастся ли ему снова увидеть то же, то же самое? А может, сон исчезнет, погаснет? Боже, Боже мой, что еще ты уготовил мне?

Его охватило непреодолимое желание все увидеть вновь, еще раз увидеть во сне всю свою жизнь, свое величие и свой страх. ...И он заснул. И вернулся тот самый сон, которого он так жаждал.

...А солнце садилось за горы. Мир застыл, остановился. Свежий ветерок прошелестел над смежающимися веками Саула, над его глазами, обращенными ввысь, в небо, к звездам, выходящим на свою вахту.



Гойя. За еврейской кровью. 1814—24 гг.

ОСТАВШИЙСЯ В ТОЛЕДО

I

У супруги дона Аврахама, богатого министра таможенных сборов в Толедо, Фортуны дель Амиго было семь братьев. Шестеро из них были невысокого роста, чревоугодники; они неумоимо добивались богатства, жили шумно, на широкую ногу, а седьмой брат — дон Хосе дель Амиго — был полной их противоположностью: высок и худощав, обладал аристократической внешностью и уравновешенным характером, в общении с людьми был спокоен, приятен, несколько склонен к меланхолии. Занимался он торговлей старинными рукописями на многих языках, особенно на греческом, латыни и арабском. Было у него несколько рукописей и на иврите, большей частью поэзия и трактаты одиннадцатого и двенадцатого веков, но их он не продавал; он берег их как священные реликвии. Он был большим специалистом в своей области. "Он определяет ценность по запаху", — говорили о нем. Ему было около сорока лет, а опытен он был, как глубокий старик. Он не произносил пустых слов, ни шуточных, ни легкомысленных. Одевался он опрятно и красиво и выглядел настоящим испанским вельможей. Небольшая голова, острая черная бородка, батистовый белоснежный воротник придавали его внешности что-то юношеское. Его доброжелательный взгляд, устремленный на человека, вселял в сердце покой. Несколько священников и министров, приверженных науке, большей частью из числа евреев, принужденных сменить религию, знали и любили его. Они покупали у него дорогие рукописи и отдавали должное его широким познаниям в лите-

ратуре и науке. Он никогда ни с кем не вступал в споры и на каждый вопрос давал короткий и исчерпывающий ответ. Его ответы принимались, как Урим и Тумим первосвященника. Он терпеливо выслушивал мнения других и поэтому не казался человеком, который фанатично придерживался веры предков, и, действительно, многие о нем так думали, но в его сердце теплился вечный огонь веры.

Более других любил его епископ, широко образованный сердечный человек, Котинхо Мальгебра из Португалии, который всегда приезжал к своему другу в Кастилию посмотреть рукописи или приглашал его к себе со свитками; и, бывало, они просиживали над рукописью по два-три дня, чтобы установить время ее написания и ее автора. Однако со дня введения инквизиции в Испании нога епископа не ступала на ненавистную ему землю Кастилии.

Супруга дона Хосе, дочь раввина из Севильи, была женщиной мягкосердечной и болезненной, со дня замужества она относилась к своему супругу, как к ангелу небесному. Из шестерых детей, которых она ему родила, пятеро умерли от разных болезней, и в живых остался только один мальчик из двойни. В тридцатитрехлетнем возрасте она перестала рожать, очень страдала и огорчалась из-за этого, и красота ее поблекла. Накопив денег, дон Хосе купил у разорившегося кастильского аристократа небольшой замок на обсаженном холме, в Лос-Паласиос, на юге Толедо. С холма были видны долина, полноводное озеро, луга, покрытые цветами, разбросанные среди них замки. Он был единственным евреем, поселившимся в этом христианском поместье. Местность была красивой, не то, что каменистое, голое Толедо.

Большую часть времени дон Хосе проводил в мансарде своего весьма просторного замка. Вдоль стен были установлены шкафы, облицованные медью, в которых хранились его книги, собрания ру-

кописей и дорогих свитков. К каждому шкафу был пригнан особый ключ. Ключи он носил на набедренном поясе из тонкой кожи, на ремне под верхней одеждой. Он следил за проветриванием шкафов, хотя сухой воздух Лос-Паласиос, удаленного от реки Тахо, способствовал нужным условиям хранения рукописей; он смазывал петли шкафов, рассматривал через увеличительное стекло состояние рукописей и свитков, изучал влияние на них воздуха. Только по субботам и праздникам он обедал вместе с семьей в нижнем этаже, а в будние дни жена приносила ему еду наверх, чтобы он не тратил времени и не отрывался от занятия, которому посвящал все свое время и внимание.

Его шурин, седой, подвижный дон Аврахам, опора государственной казны и патрон еврейской общины, приближенный королевской четы и старого раввина Ицхака Абохава, ревностный поборник еврейской религии, считал, что дон Хосе слишком легко относится к вопросам веры. Подозревал, что он, как и некоторые другие образованные евреи Кастилии, склоняется к "толерантности". Слово это даже ревнители господствующей веры в стране, ненавидящие инквизицию, произносили с усмешкой. Ничего удивительного: человек, читающий рукописи на семи языках, не может не относиться терпимо к религии. Непрекращающиеся слухи о том, что королевская чета (по наущению жадных псов-священнослужителей) задумала вскоре изгнать евреев из Испании, вселили в сердце дона Аврахама страх. Он сомневался, удастся ли дону Хосе, ведущему свои дела со священниками и епископами, устоять против надвигающейся опасности. За остальных шуринов, сыновей, женихов своих дочерей, хотя они были людьми простыми, стремящимися к земным благам, он был более спокоен. Поэтому он много думал о доне Хосе и с тревогой произносил его имя.

Супруга дона Хосе, донья Роса, неукоснитель-

но соблюдала еврейские традиции и предписания, как это было принято в доме ее отца, раввина. Даже няня ее, старая католичка, которую она привезла с собой из Севильи, знала большинство еврейских обычаев, и не раз случалось, что она напоминала своей госпоже о религиозных обязанностях. Каждый вечер донья Роса произносила с ребенком молитву перед сном и утром напоминала, что нужно мыть руки. Как-то утром, оставшись вдвоем с матерью, мальчик весело сказал ей, что знает еще одну молитву, от няни, и тут же на чистом испанском языке произнес первые фразы из "Патер ностер" и, смеясь, перекрестился. Мать до смерти перепугалась, поднялась к мужу и со слезами на глазах рассказала ему об этом. Дон Хосе спокойно выслушал ее, положил ей на голову обе руки и сказал:

— Не огорчайся, душа моя. Мы отошлем из дома няню-иноверку и найдем еврейку. Ребенок тут же забудет чужую молитву.

— Куда денется эта старая женщина, у нее ведь никого нет на свете?

— Отошлем ее в дом твоей матери, в Севилью. Там нет малышей, которых она могла бы обучать своим молитвам.

Старую няню отправили в дом к матери доньи Росы, а вместо нее наняли вдову, еврейку из Толедо.

II

Когда из трех летних месяцев 1492 года, предоставленных испанскими властями евреям для устройства их дел перед изгнанием из родной страны, прошло два, и всем стало ясно, что на этот раз ничем не помочь, — ни молитвами, ни дарами, — дон Аврахам (после длительных совещаний с раввином Абохавом перед выездом в Португалию во главе делегации в поисках пристанища

для евреев) собрал в своем доме всех членов своей семьи: братьев, сыновей, зятьев, семерых шуринов и их детей, — чтобы на совете решить, что делать, когда зло коснется их. Все единодушно согласились с тем, что они должны выстоять во всех испытаниях и остаться непоколебимыми в вере отцов, даже если вынуждены будут покинуть страну или умереть, прославляя Господа. "Разве лучше нашим братьям, переменившим веру и все же поднимающимся ежедневно на костер?" Старший из братьев предложил, чтобы все собравшиеся встали и поклялись именем Бога.

Услышав это предложение, дон Аврахам вскочил, глаза его засверкали, и он воскликнул, что не клянутся в верности Святому учению: "Человека, готового — не приведи Господи — отступить от Святой Торы, разве удержит клятва!"

— Прости меня великодушно, — сказал пристыженный шурин. — Господь поставил тебя над нами, что прикажешь — выполним, послушаемся тебя!

Все остальные согласились с этим. Только дон Хосе молчал. Он не произнес ни слова. Весь его вид выражал протест. Его молчание угнетало собравшихся. Молодые глядели на него со сдержанным гневом. Самый младший из них — юноша, недавно отпраздновавший бар-мицву, преисполненный величием перемены в его жизни, плюнул в сторону дон Хосе. Никто не одернул его. Дон Хосе вздрогнул, но не двинулся с места. Он продолжал сидеть, бледный, слушая молча своего всемогущего и уважаемого зятя, сидящего во главе отполированного, инкрустированного белым серебром черного стола, но в действительности больше прислушивался к своему внутреннему голосу, чем к словам зятя.

Дон Хосе вышел из красивого, сводчатого зала, и дон Аврахам, провожавший всех до двери, положил ему руку на плечо и шепнул взволнованно:

— Я знаю, что вы человек чести и не оскверните, не дай Бог, имя Израиля.

— Я еще не выяснил до конца мое отношение к Богу наших предков, — ответил дон Хосе отчужденно и вышел гордо выпрямившись, почти касаясь головой притолоки.

Вернувшись вечером домой, он сказал жене:

— Роса, дорогая, я подымусь наверх. До завтрашнего вечера не приноси мне ни еды, ни питья. Я хочу поститься.

— Так велики беды?

— Да, и будут еще большими. Поцелуй за меня нашего сына перед сном. И, придерживая рукой полы своей мантии, он медленно поднялся в мансарду по деревянным ступеням, покрытым пурпурным лаком.

Жена с сердцем, полным тревоги, смотрела на почитаемого мужа, поднимающегося в храм своего одиночества.

III

У входа в мансарду находилась прихожая со сводчатым потолком и стенами, задрапированная тяжелым занавесом, спускающимся до мраморного розового пола. Через противоположное высокое венецианское окно, которое занимало половину стены, вливался поток света, заполняя всю большую комнату, и медь шкафов сверкала как пламя. Хосе дель Амиго раздвинул обеими руками занавес, стал на пороге, осмотрел комнату холодным взглядом, как будто собираясь вступить в чужие владения. Так он стоял несколько секунд в раздумье, глядя вперед, пока глаза его не наполнились слезами и они не потекли по щекам и бороде. Он опустил руки и вошел.

Перед черным отполированным столом, за которым он писал, читал и изучал рукописи, стоял стул с мягким кожаным сиденьем и высокой резной спинкой. Сейчас стол был залит лучами заходящего солнца. Он передвинул стул в тень и сел.

Никогда в жизни не испытывал он такого чувства. Что-то похожее на дар предвидения пробудилось в нем. Он чувствовал, будто сильная буря уносит его в широкое бесконечное пространство. В этом пространстве все казалось предельно ясным: каждый холмик, каждое строение, каждое дерево, каждый куст. Чистота и удручающая печаль были в этом чувстве. Он сидел молча, но его дух носился в этих холодных пространствах до тех пор, пока не начали тускнеть и исчезать и в конце концов сомкнулись пространства и осталось одно страшное видение: сыны Израиля в великой Испании, министры, раввины, врачи и ученые, деловые люди и торговцы, женщины и дети — вся эта огромная община изгоняется из своих домов солдатами, вооруженными копьями, плетью и крестами. Священнослужители, вельможи и простолюдины толпятся на улицах, на балконах и в окнах домов, смотрят на это зрелище наслаждаясь. Солдаты хлещут плетью, а из толпы зрителей доносятся смех, крики гнева, летят плевки. В среде изгоняемых некоторые громко рыдают, другие тихо плачут, но большинство молчит в немом ужасе, идет по середине улицы и молчит; кто-то падает без сил, его поднимают идущие рядом и идут дальше. Вся эта бесконечно длинная процессия спускается к берегу моря — сотни, тысячи, десятки тысяч устремляются к морю (к порту Малака, Картахена или, может быть, к небольшому причалу одной из рыбацких деревень?). Широко простирается море, на горизонте встают облака, несущие в себе черную бурю, громы и молнии. Только три небольших парусных судна стоят на якоре в ожидании толпы изгоняемых. Как все разместятся на этих трех жалких, ветхих парусниках? Как они отправятся навстречу опасностям в бушующее море, если еще до отплытия оно внушает им ужас? Кто привел эти суда? Куда их унесет? Кто примет этот несчастный груз, выплюнутый обезумевшей, занесшейся Испанией?..

Тихо сидел дон Хосе, и ужасные видения ни на мгновение не покидали его воображения. Долго так сидел он, погруженный в раздумья, а картина изменилась: толпы изгнанных спускаются к морю, преследуемые солдатами, подгоняющими их. На улицах, на балконах, у раскрытых дверей собираются толпы, глазуют на них, смеются, издеваются и плюют им вслед, а три ветхих парусника, стоящие на якоре, качаются на бурных волнах вправо и влево, с горизонта все еще приближаются штормовые тучи...

Дон Хосе встрепенулся, широко раскрыл глаза, вскочил со стула, встал во весь рост и сказал, обращаясь к самому себе:

— Я схожу с ума... Я вижу кошмары...

Он начал шагать по розовому мраморному полу взад-вперед, как зверь в клетке. Но видения не давали покоя, возвращались к нему с той же ранящей отчетливостью, с той же давящей внутренней грустью, от которой он задыхался.

Потом он успокоился немного, стал переходить от шкафа к шкафу, прикасаясь руками к прохладной меди, как бы желая впитать в себя что-нибудь от силы и крепости этих металлических дверей шкафов. Так он двигался, поглаживая ладонью блестящую красноватую поверхность облицовки шкафов. Он выпрямился, зашевелил губами, как бы обращаясь к кому-то невидимому, что-то решая незаметно для других, и встал перед большим окном, опираясь на край стола.

Был летний вечер. Солнце, зашедшее где-то слева, осветило поверхность озера зачарованным светом (вчера прошел освежающий дождь). Растения как будто излучали свет изнутри, стекла в окнах домов блестели золотом, тонкая дымка поднималась к голубым небесам. Вдали среди утесов блестела река Тахо, как полоска расплавленного серебра. Такого чувства скорби он не испытывал никогда. Он не мог оторваться от этого вида и застыл в

печали, забыв и себя, и то ужасное видение, которое пригрезилось ему только что.

С наступлением сумерек воздух потускнел и что-то угасло в нем самом. Он отдался этому чувству и очнулся, когда на долину спустилась тьма и можно было различить только тонкие очертания предметов, как будто проведенные острым резцом.

К нему вернулась ясность мысли, без фантазий. Он сел на стул без спинки, опустил голову на руки и задумался о происходящем в Испании и о том, что произойдет в будущем.

Он много передумал за последние два года, находясь в разъездах или дома по ночам, с тех пор, как стало известно о тайных совещаниях королевской четы и главы инквизиции, человека хладнокровного и фанатичного. Большинство его братьев и больше всех его всемогущий зять и его последователи утешали себя несбыточными надеждами. Он же все взвесил и понял с предельной ясностью устрашающую логику: Испания возвышается. Она стремится стать мощным государством. Брачный союз между Арагоном и Кастилией послужил началом объединения страны. Последний оплот арабов — Испания — расшатался. Эпоха их владычества, исчисляемая сотнями лет, пришла к концу. Значительная часть Италии, а также Неаполитанское королевство будут захвачены Испанией. Великий морской флот Испании, заходящий в небывалые дали, возможно, откроет незаселенные страны и создаст новые колонии. Испания намерена стать самым сильным королевством, господствующим над народами и странами. Будто праздничный ветер пронесся над жителями страны, над всеми, но только не над евреями.

Евреев, со времени владычества семитов в Андалузии разбогатевших и достигших силы и влияния в самых главных отраслях жизни, не будут больше терпеть новые властелины страны. Католическое чудовище подымает черную голову и вы-

ходит из своего логовища. Испания, освобождаясь от сильного семитского племени — арабов, решила участь другого, слабого, племени — евреев. После безжалостного преследования тайных евреев идет прилив гонений на евреев явных.

Прошли безвозвратно времена, когда Испания делилась на два лагеря, когда преследуемые врагом в одном лагере — католическом — спасались, переходя в другой — мусульманский, и наоборот. Никакие дары, отчисляемые евреями властелинам, не могут помочь с тех пор, как найдено простое средство: забрать силой при поддержке закона все их богатство, когда наступит подходящий момент. Даже перемена религии, которую требуют от них нынче, не поможет: не поверят вероотступникам, не отнесутся к ним доброжелательно. Узкие растянутые шествия бенедиктинцев с высокими капюшонами "корозо" на головах, сосредоточенно несущие факелы к кострам инквизиции, вырвали из их сердец веру в спасение жизни вероотступничеством. Инквизиция утверждает, что хочет спасти заблудшие души, на деле же она хочет их уничтожить, занять их общественное положение, вызывающее зависть и ярость. Возможно, что Испания сама еще не может точно сформулировать мотивы своих действий. Если бы эти правители жили в другую эпоху, в эпоху, когда королевский трон не был бы продан религии, они бы открыто сказали: мы хотим избавиться от евреев, потому что они нам чужие, конкурируют с нами, превосходят нас способностями, они всплывают на поверхность, как масло на отстоявшемся молоке. Но теперь, когда власть воодушевляется религией, можно их уничтожать только ее именем...

Дон Хосе много раз углублялся в эти размышления, теперь ему все стало предельно ясно, будто дух сошел на него с небес. В своем ясновидении он обдумал состояние еврейской общины в Испании, величие всех еврейских общин того времени,

и вспомнилось ему древнее пророчество: одна треть развеется по всему свету; треть умрет в страшных испытаниях и предсмертных муках в самой Испании, в море, в неизвестных местах, а последняя треть, которая останется в Испании, позабудет свое происхождение и Бога своего. Но никому не будет дано выбрать свою участь — уйти ли в другую страну, под другое небо, умереть ли в страшных муках, прославляя Бога своего, или остаться в Испании на позорную жизнь. Судьба человека предрешена, и то, что ему назначено, придет непременно — захочет он или нет...

Эта последняя мысль успокоила его взволнованное сердце. Если все predetermined, ему останется только склонить голову и покорно ждать. "Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа... одиноко ждет и молчит..." — повторил он мысленно читаемое евреями ежегодно в старинном "Плаче Иеремии" с тем же напевом, с тем же чувством, что и далекие предки.

Но ему были уготованы муки раздумий в эту ночь бдения у открытого настежь окна, за которым простирался ландшафт, освещенный серебристым светом луны. Он встал, ощутил прохладу ночного воздуха, струящегося из открытого окна. Крыши башенок отражали холодный свет. Кое-где из окон лился тихий лучистый свет, за другими сгустилась тьма. Невдалеке слышались звуки гитары, женский и мужской голоса, полные печали, пели попеременно вечернюю песню. Запахом вечерней трапезы веяло от напева. Но чужими были и запахи, и пение.

Он помнил, кем были евреи в этой волшебной стране. В течение многих сотен лет в муках и страданиях терпели они насилие над их религией то от эдомитян, то от измаильтян; здесь же достигли богатства, уважения и славы, достойных человека. Здесь они мечтали и пели; углублялись

в толкования Торы более, чем в любой другой стране рассеяния. Только самая малость уцелела от тех времен: несколько книг и забытые рукописи, дорогие молитвенники и богословские исследования, святые и светские стихи — немые свидетели исчезнувшего золотого века.

И невольно пришел на память странный стих, стих, который до сегодняшнего дня нисколько не волновал его, а теперь выражал его душевное состояние:

”Есть ли для нас на Востоке или Западе
Место надежды, покоя и безопасности?”

Странно, странно! Такие простые и ясные слова, но не чувствовал он их раньше, хотя читал не раз... Не тут ли, в Толедо или Кордове, написан поэтом этот чудесный стих, язык которого прекраснее, чем в любом знакомом ему произведении?..

Он перегнулся через стол, высунул голову в окно, охватил взором весь ландшафт, насколько было возможно, и прошептал ту же фразу, так тронувшую его сердце.

Так он сидел за столом, думая о своем. Ему стал понятен смысл происходящего. И когда из Толедо донесся звук рожка, оповещающий о наступлении полуночи, к нему пришло великое, страшное решение, облаченное в четыре огненных слова: ”Ло амут, ки эхье!” (”Не умру, но буду жить!”). Только эти четыре слова выделил он из слов псалмопевца: ”Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни”; остальное не важно: вся его страсть, беспокойство, страх, весь крик души нашли удовлетворение в четырех небольших, но емких словах: ”Не умру, но буду жить!” Они огненными буквами отпечатались в его сознании. Его что-то подталкивало. Он вынул из ящика стола кусочек пергамента, гусиное перо и чернила и, едва владея со-

бой, написал те четыре слова квадратными, черными, сверкающими буквами. В возбуждении он встал и разглядывал написанное с ощущением радостной дрожи, поддерживая края пергамента, чтобы он не свернулся и не расплывались чернила. Так он простоял, пока чернила не впитались.

Когда они высохли, он поднял пергамент, как святой свиток, осмотрел снова при свете луны, поцеловал и прижал к сердцу, как талисман. Он расстегнул одежду и положил его на голую грудь. Сердце его трепетало, будто он нашел то, что годами искал, нет, не годами — поколениями. Теперь ему не сорок лет, а сотни лет, он один из сынов той эпохи — эпохи Маймонида* и Галеви**, и Габироля***, и других, живших до них — они не умерли, они еще живут... Он чувствовал легкий голод, но ощущение радости пересилило голод. Он лег на кожаную кушетку в глубине комнаты, где он обычно отдыхал между делами. Лежал он одетым, заложив ногу на ногу, с открытыми глазами, всю ночь не сомкнув их. Так он пролежал до рассвета.

Наутро он подошел к маленькому рукомойнику, висевшему в углу комнаты, омыл руки и лицо. Лицо он мыл осторожно, сомкнув губы, чтобы вода не проникла в рот, так как он постился. Открыл широкий шкаф, вынул оттуда рукописный свиток —

* Маймонид (Рамбам, рабби Моше бен Маймон) — выдающийся еврейский мыслитель XII в., известный в христианском мире под именем Маймонид.

** Иехуда Галеви (ха-Леви, не позднее 1075—1141) — еврейский поэт и философ. Его книга "Сефер ха-кузари" ("Книга хазара") была написана по-арабски и в середине XII в. переведена на иврит. Литературной канвой книги служит обращение в иудаизм хазарского царя. В этой книге поэт изложил свое философское учение.

*** Ибн Габирол (Шломо бен Иехуда ибн Габирол, ок. 1021—22 — между 1052 и 1055) — еврейский поэт и философ. Писал на иврите и арабском.

книгу "Возвышенное убеждение" Рабада I*, развернул ее и вернул на место, вынул более толстую рукопись, написанную на иврите и арабском, — сборник изречений из Священного Писания и мудрецов Талмуда, — книгу Галеви, посвященную доказательствам истинности униженной еврейской религии, написанную, вероятно, тут, в Толедо. Он читал, не отрываясь, все утро и весь день. Только к вечеру, закончив читать, опьяненный и потрясенный, поцеловал книгу и поставил ее на место, в шкаф, закрыл его и спустился в жилые комнаты.

Он нашел донью Росу с четырехлетним сынишкой на руках внизу, у лестницы. Молча они ждали, когда он спустится к ним. Он улыбнулся обоим, положил руку на головку ребенка, как бы благословляя его, нагнулся к жене, посмотрел пристально в ее лучистые глаза и сказал ей решительно:

— Не умру!

— Как понять твои слова? — спросила она озабоченно.

— Я сказал и решил твердо: "Не умру, но буду жить! Ничего не смогут мне сделать"... — Глаза его горели.

— И наш ребенок... И я... — прошептала она в слезах.

— И вы будете жить, если на то будет воля Отца нашего на небесах. Ты, моя дорогая, накрыла на стол? День моего поста кончился. Я уверен, что Богу понадобятся все мои силы. Пойдем в комнаты.

Они втроем вошли в столовую, залитую светом спускающейся с потолка люстры. Стол был уставлен лучшей посудой и отборными кушаньями, как на праздник.

* Рабад I (Ибн Дауд Аврахам бен Давид ха-Леви, ок.1110 — ок.1180) — еврейский историк, философ, врач, астроном. Книга "Возвышенное убеждение" была написана на арабском языке (оригинал не сохранился), два перевода на иврит сделаны в конце XIV в.

Со дня поста дон Хосе как будто освободился от раздумий и сомнений и точно знал, что он должен делать: он должен жить! Он перестал беспокоиться, наоборот, его переполняло радостное ликование. Он погрузился в себя, в свою идею, казавшуюся ему возвышенной и несущей освобождение ему, его народу и, возможно, даже всему миру. Пергамент с написанными на нем словами он повесил на шелковом шнурке на грудь под рубашкой, не снимал его ни днем, ни ночью. Он был уверен, что это защита от всякого зла.

Жену и единственного сынишку он любил нежной любовью и не переставал заботиться о них, оказывая им всевозможные знаки любви, как бы желая прилепить их к себе навечно; но в то же время его не покидала мысль, воцарившаяся в душе как откровение большого счастья: "Не умру, но буду жить!" Иногда он забавлялся этими чарующими словами, переводя их на греческий, латынь, арабский и испанский, возбуждая себя, он повторял шепотом: "Йо но морире, мас вивире!"*

Дни великого изгнания приближались. Предприимчивые, по возможности, продавали свое имущество и покидали Испанию еще до наступления горького, неотвратимого дня. Но многие, тысячи и десятки тысяч, еще надеялись на чудо. Им дали еще два дня, как они просили, но надежды их не оправдались. Испанцы радостно готовились к этому горестному для евреев дню. А дон Хосе расхаживал по улицам, и все его существо ликовало от мысли, что наступит день, когда все увидят, что смерть не властна над ним и над его народом.

Слух о том, что старый дон Аврахам и его разветвленная семья не устояли против искушения и по требованию королевского дома приняли веру при-

* "Йо но морире, мас вивире!" (исп.) — "Не умру, но буду жить!"

теснителей, — слух, приведший к полной подавленности еврейской общины, — не тронул дон Хосе. Еще тогда, когда он сидел молча в доме своего шурина, когда мальчик плюнул в его сторону и когда старик шептал ему на ухо требование беречь честь Израиля, — уже тогда ему было ясно, что им не устоять. Возможно, если бы раввин Абохав был тут, дон Аврахам не смог бы совершить то, что он сделал. В его глазах они уже мертвы... Но что ему до них?

По привычке он в эти горькие последние дни еще занимался своими рукописями и продавал их, хотя это было уже опасно, так как шпионы инквизиции следили за каждым домом и на каждом углу, где испанцы вступали в связь с евреями, подозревали их в ереси и вероотступничестве. Но он, дон Хосе, уже не остерегался, не хотел остерегаться. Он был уверен, что не умрет, будет жить, несмотря на ненависть врагов его народа, и, со дня своего поста, не считался больше с опасностью... Донья Роса это знала.

Утром пятого Ава (было странное утро: солнце, как раскаленный медный таз, стояло в небе, затянутом желтой дымкой) дон Хосе вышел из дому, направляясь в ближайший пригород Толедо, во дворец графа Мирандо, просвещенного и смелого мужа, не боявшегося на всех перекрестках выступать против самого Торквемады. В одном из своих шкафов дон Хосе нашел старинный родословный свиток этого аристократа и хотел передать его отличающемуся от всех своих соотечественников человеку. Конечно, не за деньги, но как последний дар перед расставанием с Испанией.

По пути он почувствовал, что два молодых человека следят за ним, хотя они прикидывались, будто погружены в беседу. И когда он дошел до конца улицы и повернул в аллею тутовых деревьев, ведущую к замку аристократа, те двое набросились на него сзади и прошипели:

— Хулио конверсо!* Тебя мы ищем уже три дня...

Они повалили его, избили и, обыскав все карманы, забрали все, что нашли. Связку ключей, которые он носил под плащом, они сорвали с победным криком:

— Ключи от твоих кладов, выкуп или смерть!

На их свист прибежали молодые люди отталкивающего вида и поволокли его в Толедо, в замок инквизиции. Во время издевательств над ним этих безжалостных людей у него была единственная мысль: "Не умру..." — и ему казалось, что эти слова он выкрикивает, напрягая все силы, хотя понимал, что его голос не слышен.

Неделю он провел в тюрьме, после чего его подняли на дыбу. Как его там истязали, он не помнил. Сквозь кровавую завесу ему виделся темный двор тюрьмы, место его истязания. Когда тюремный палач поворачивал дыбу, к которой он был привязан, он чувствовал, что у него разрываются внутренности. Сердце как будто отрывалось. Вся кровь прилиwała к голове. Боль пронизывала все тело, изо рта его фонтаном текла горячая соленая кровь, а сознание удерживало два слова, как две опоры, и он понимал эту мысль, и губы его шептали сквозь текущую кровь: "Не умру, не умру..."

Когда его сняли с дыбы, шейный позвонок был сломан, голова свисала на левое плечо, а с правой стороны на шее образовалась большая шишка. Боль бушевала во всем теле до умопомрачения, он не мог стоять на ногах, глаза ничего не видели в кровавом тумане, залитые кровью губы продолжали шептать беззвучно: "Не умру, не умру..."

Как он добрался в тот вечер к ограде напротив своего дома в Лос-Паласиос, он не знал. Но помнил, что чья-то рука тронула его за плечо и старческий голос шепнул сочувственно:

* Хулио конверсо! (исп.) — Крещеный еврей!

— Болит очень, дон Хосе?..

Потом он почувствовал около рта чашку или миску. В нос ударил запах вина. Он еле раскрыл губы, но зубы были стиснуты, как обручем, он не смог разжать их. Немного жидкости просочилось сквозь зубы, большая же часть лилась обратно в посудину.

Пересиливая боль, опираясь на низкое, вздрагивающее плечо, он медленно продвигался вперед. В уши проникал шепот: "Еще немного, дон Хосе, еще немного — и мы придем в Лос-Паласиос... На границе Лос-Паласиос я вас оставлю, дальше для меня рискованно... Кровавые псы всюду наблюдают... Я старый слуга дона Мирандо... Его превосходительство послал меня проводить дона Хосе в Лос... Что? Что вы шепчете? Я не понимаю вас... Еще немного, немного... Если бы он мог сказать или показать, где его дом... Тихо, тихо... Так..."

Был поздний вечерний час. Он сидел один, прислонившись к ограде, на травянистой земляной насыпи. Рядом с ним никого не было, глаза его ничего не видели. Голова привалилась к левому плечу, глаза были устремлены в вечернюю тьму и различали лишь размытые пятна света,двигающиеся перед ним, приближающиеся и удаляющиеся и снова приближающиеся. Трава вокруг была влажной от росы. Он смочил руки и провел ими по лицу. Прохлада влага оживила его. Постепенно его глаза начали различать мелькающие огни. Не Лос-Паласиос ли это? Не его ли это замок, из всех окон которого льется свет? А где старик, что привел его сюда?.. "Еще немного, еще немного... Не понимаю его шепота... Где его дом?" Он никак не может вспомнить, чей это слуга... Как мучительна боль!..

После долгого неподвижного сидения его мозг стал проясняться. Сколько дней прошло с тех пор, как он был брошен на землю теми негодяями? Пять, шесть? Больше?.. Сколько ни старался сосчитать дни своего заточения, ему это не удавалось. По-

чему в его доме так много света?.. Что там? Праздник? Кто там празднует?.. Донья Роса, оставшаяся в полном неведении о нем, она сидела бы в темноте, в тревоге и горе... Нет, донья Роса — и такое праздничное освещение?.. Нет, нет...

Боль усилилась, он пытался подняться с места и встать на ноги, но ноги были как бы налиты свинцом. Шея болела адски. Его взгляд был устремлен на освещенные окна верхнего и нижнего этажей замка.

Внезапно возникла в мозгу очень ясная мысль: донья Роса, мальчик и вдова, его няня, уже изгнаны из дома. Изгнание уже состоялось, все конечно, его дом уже отдан другим... Чужие живут там... Волки пустыни, пожирающие труды Израиля... Куда делись его домочадцы? С кем они ушли, с кем их изгнали? К какому порту их погнали? Где он найдет их, когда сможет бежать за ними и искать их?

Боль пронзила его сердце. Теперь он ясно видел, что во всем доме зажжены потолочные люстры. В его мансарде раскрыты окна, и люди с непокрытыми, стриженными головами видны в них, они двигаются по комнате. До его слуха доносятся оттуда звуки веселья и смеха. Этим собакам достался его дом! Что случилось с книгами, рукописями, дорогими манускриптами?.. Роса и ребенок, где они? Неужели все это произошло? Страстный протест сжал его сердце, и вернулась пронизывающая боль. Где они? Куда пошли? Кто позаботится о них? Кто защитит?..

Он дрожал как в лихорадке. Пересилив дрожь, он посидел некоторое время, как бы вспоминая что-то забытое. Вдруг вытянул руки, руки, раздираемые болью, по направлению к своему освещенному дому и сказал внятно: "Не умру, не умру! Йо но морире, мас вивире! Но буду жить, буду жить!"

Если бы он мог стоять на ногах, он спустился

бы с насыпи, танцевал бы под этим высоким небом, на перекрестке дороги напротив своего дома, захваченного чужими, жестокими людьми, и пел бы песнь своей жизни, жизни вечной, до скончания веков!..

V

Всю ту ночь дон Хосе сидел на земляной насыпи, опираясь спиной на доски ограды. Свет в окнах наконец погасили. Погрузилось в сон узкое высокое строение с башенками и балконами, стоящее в саду, среди деревьев; словно храня чужую тайну, оно блестело в свете почти полной луны, иногда погружаясь в темноту, когда облако закрывало ее. Полная тишина охватила все мировое пространство. Холодные звезды сверкали в небесах, одинокие и колючие, как золотые гвозди. Еще несколько раз он пытался встать, но не смог. Он уже не ощущал боли, тело и ноги окаменели. Он остался сидеть на том же месте, а в его мозгу не переставал звучать припев тех четырех слов. Казалось ему, что ночь откликается на этот напев, ему хотелось, чтобы эта ночь продолжалась до бесконечности.

На рассвете, когда заря залила розовой краской небесный свод и благоухающую землю, мимо проходили два жителя Лос-Паласиос. Остановились и посмотрели на сидящего в позе мертвеца... Они узнали его: еврей дон Хосе! Подошли и слышали его дыхание. Подняли его, поставили на ноги. Дон Хосе раскрыл глаза, глядя на них с улыбкой, но стоял без движения. Они пытались заставить его шагнуть, он подчинился. Они начали расспрашивать его, но он, как будто отнялся у него язык, не ответил. Они рассказали ему, что его семью изгнали вместе с евреями Толедо, а дом его отдан в дар одному из министров. Он слушал и тихо улыбался. Когда же они рассказа-

ли ему, что его книги и рукописи были брошены в костер в саду — он вздрогнул, но тут же опять улыбнулся. Один из них покрутил пальцем у лба, его товарищ кивнул головой в знак согласия. Да, он сошел с ума... Они вернули его в Толедо, доставили в инквизицию. Гвардейцы, узнав его, сказали:

— Это ведь еврей дон Хосе! Его вчера вздернули на дыбу. Где нашли его?

— В Лос-Паласиос, под оградой, вблизи его замка, — ответили они в один голос.

— А мы не знали, куда он исчез. После того, как сняли его с дыбы, оставили его одного, во дворе, а вернувшись вечером — не нашли его. Мы полагали, что он отправился на небо... Из-за множества забот мы забыли, что он не был изгнан со всем сбродом...

Один из приведших его покрутил пальцем у лба.

Гвардейцы смотрели на избитого, одетого в аристократическую, но рваную и запачканную одежду, стоявшего и улыбавшегося дона Хосе.

— Скажи, кто привел тебя в Лос-Паласиос? — спросил его инквизитор, повернувшись к нему.

Вместо ответа дон Хосе покачал головой и мягко ответил:

— Йо но морире...

Все четверо схватились за бока от смеха.

— Оставьте его тут, люди добрые, идите домой, — сказал им инквизитор. — Мы запросим у начальства, что нам делать с этим несчастным евреем, единственным, как мне кажется, оставшимся в нашем городе.

С месяц держали его в заточении. Были долгие и утомительные переговоры между инквизицией и гражданским судом, так как каждый из них доказывал, что подсудимый не подлежит его юрисдикции. Его несколько раз приводили к следователям, чтобы выпытать у него, кому он продавал свою крамольную, еретическую писанину. Ему угрожали жес-

токими мучениями, новой дыбой, костром, говорили с ним строго и мягко, били его нещадно, под конец ему устроили очную ставку с его старой сестрой — доньей Фортуной Коронель (таково было имя ее супруга дона Аврахама). Ничего не добились: улыбка не сходила с его губ, и только одно он все твердил: "Не умру, не умру, но буду жить!"

Убедившись, что справиться с ним невозможно, они вынесли решение, что он сумасшедший, и отправили его в ближайшую богадельню в Альгодоре. Три раза направляли его туда, и каждый раз он убегал оттуда и снова появлялся на улицах Толедо. Под конец они отступились и оставили его вместе с другими умалишенными бродить по столице.

Прошли недели и месяцы, его истощение росло, и, хотя голова его клонилась к плечу, он казался выше прежнего. Его одежда превратилась в отрепья, но почти черный от грязи батист украшал, как прежде, его шею. Борода росла дико, и вместо ухоженной, красиво подстриженной бородки спускалась на грудь грязными, черными патлами. Его веки были воспалены, но запавшие глаза светились покоем.

Его старшая сестра, подавленная поступком мужа, знала о несчастье своего любимого брата Йосефа (теперь, когда все "победили в своем зловонии", он, умалишенный, но не отступившийся от еврейства, стал ей еще дороже) и старалась помочь ему. Она звала его в свой дом поесть и переменить одежду. Он не являлся, она посылала ему пищу и одежду, но он ничего не брал, улыбался посланцу и, качая головой, говорил: "Не умру, но буду жить".

Но еще больше, чем его страданиями, ее сердце было тронато судьбой его жены и мальчика, исчезнувших бесследно. По ее просьбе старший сын обращался во все места, куда направлялись изгнанники: в Португалию, Италию и Грецию, Турцию и Северную Африку, и хотя получены были кое-какие

ответы, но никто не мог сообщить ничего о судьбе доньи Росы и ее ребенка. Возможно, что они утонули в море, умерли с голоду, от эпидемии вместе с другими несчастными, как часто случалось в те горькие дни. А сам дон Хосе вообще не поминал их, как будто забыл жену и сына.

С течением времени привыкли к этому странному сумасшедшему, единственному еврею в Толедо. Было много старых и новых, переменявших религию по принуждению, были также христиане по рождению, узнававшие его на улицах, они останавливались, предлагали ему подавание, но он улыбался и не протягивал руку за подаванием. Только фрукты и зерна принимал, чтобы прокормиться. Вскоре знакомые оставили его, он стал жить, как остальные Богом обиженные, которым испанцы остерегаются причинять зло.

Чем дон Хосе был отличен от других, Богом обиженных, в Толедо? Своим припевом, который он не переставал повторять каждому, и страстью к каждому листку рукописи и к любому обрывку книги. Где бы ни находил он клочок рукописного или печатного текста, он подымал его с благоговением, чистил краем одежды и прочитывал. Если прочитанное оказывалось ему по душе, он клал его в мешок, висевший у него на плече. В дождь он прикрывал мешок плащом и прятался с ним в подъезде дома или в одной из лавок. Поэтому его в шутку прозвали "Либреро", то есть библиотекарь.

Уличные мальчишки знали его и часто останавливали вопросом:

— Ну, Либреро, умрешь или не умрешь?

Дон Хосе посмотрит на них спокойно, улыбнется и ответит:

— Не умру, не умру, но буду жить...

Шутники протягивали ему клочки бумаги, он хватал их, но, убедившись, что они пусты, возвращал с благодарностью. Тогда ему протягивали несколько орехов или горсть фисташек, иногда

ломтик арбуза и кисть винограда.

Еще одна страсть была у него: сопровождать шествия, праздничные и траурные, с головой, наклоненной к левому плечу, с мешком, висящим на правом. В плаще, с израненными ногами в деревянных сандалиях, шагал он, прямой, сосредоточенный, позади последних рядов, а губы беспрестанно шепчут: "Не умру, не умру, но буду жить..."

Так он шел в конце похоронного шествия своего шурина дона Коронеля, умершего через год после изгнания его братьев-евреев из Испании. Он шел в 1498 году за черным шествием на похоронах Томасо Торквемады, имя которого приводило в трепет еще многие поколения. Он провожал в 1504 году гроб королевы Изабеллы, привезенный с почестями из Дель Кампо. В 1509 году он шел за провожающими гроб принцессы Хуаны, сошедшей с ума после смерти ее красивого мужа, когда отец велел заточить ее во дворце Тордисила до конца жизни. В 1516 году он шел за катафалком Фернандо Католического, скончавшегося в Эстремадуре, и в том же году — за процессией по случаю коронации Карла Пятого, весьма деятельного короля, того самого, о котором говорили, что во время его царствования солнце никогда не заходит.

Шли дни, мчались годы. Испания выросла и стала могущественной, вела большие войны; Испания устанавливала свой режим в покоренных странах, во Франции, в Америке. Она находилась в зените славы, величия и великолепия. Пламя инквизиции не угасало, но уменьшилось, к нему привыкли, почти не замечали его. Многие вероотступники вернулись тайно к своей религии. Новые христиане теперь были среди самых могущественных в стране. Наиболее влиятельным было семейство Коронель. Никто из изгнанных евреев не вернулся в Испанию. Те же, которые решили вернуться, еще на

границе сняли с себя оковы своей веры. Только умалишенный еврей, дон Хосе (его фамилию с течением времени забыли), или Либреро, расхаживал под небесами Испании, по улицам королевского Толедо, со сломанной шеей, головой, склоненной на левое плечо, и истлевшим от времени мешком с "письменами" на правом плече. Его тощее тело стало страшным, голова и борода побелели, но спина не согнулась, глаза не потускнели, и губы не переставали шептать.

Весной 1540 года в Толедо был большой праздник. Подобного праздника не видели со дня основания города. Юноша Филипп, которому предстояло возобновить прежние ужасы инквизиции в Испании и за ее пределами, уже был провозглашен герцогом в Милане. Было солнечное утро, без единого облачка в небе. Толедо, построенный на скале, был украшен празднично, в королевские цвета. Над каждым домом подняли флаг, натянули разноцветные полотнища. Дороги полили водой. На балконах и выступах домов люди висели гроздьями. Дон Хосе, которому тогда было около девяноста лет, увидел большую праздничную процессию с флагами, направляющуюся к мосту Алькантра, к крепости Алькасар, поправил сумку на плече и зашагал за процессией один посередине дороги. Он не знал, что это только передовой отряд празднующих, а свита инфанта последует за ним. В свои девяноста лет он имел еще крепкие ноги и не уставал. Вдруг он услышал за спиной топот копыт приближающегося со скоростью молнии коня. Он хотел свернуть в сторону, но мгновенно был опрокинут, и конь подкованными копытами проскакал по его телу. Как вспышка молнии в его уходящем сознании явились слова:

"Не умру..." Продолжения не последовало — он испустил дух...

Конь инфанта Филиппа растоптал его. Филипп хотел догнать ушедшую вперед процессию, погнал

коня и сбил с ног растерявшегося умалишенного.

Филипп вернулся, желая узнать, кого сбил. Подоспели сопровождавшие его министры на великолепных конях. Все встали вокруг лежавшего без признаков жизни старика, глаза его были открыты, и на губах еще не погасла улыбка.

Юноша в королевской одежде с раскрытым ртом и длинным вытянутым подбородком, не спускал глаз с убитого, распростертого посреди дороги. Ветхая одежда старика распахнулась, на открытой груди висел на шнурке кусочек потемневшего от времени, смятого пергамента.

На пергаменте ряд черных букв.

Филипп обратился к министру — его наставнику, стоявшему рядом:

— Прочтите, что там написано!

Министр, седой старик, благообразный и печальный, нагнулся с коня над убитым. Его сабля приподнялась, он в страхе едва взглянул на кусочек пергамента, выпрямился и сказал:

— Ваше величество, прошу не гневаться, я не могу прочесть написанное — это еврейская письменность.

Юноша обругал своего наставника и погнал коня к мосту. Вся свита поспешила за ним.

Говорят, что с того дня и до конца его жизни Филипп находился во власти злого духа, а после смерти Филиппа этот дух преследовал весь испанский народ...



Дюрер. Эразм Роттердамский. 1526 г.

НА ПОСТОЯЛОМ ДВОРЕ

I

Утро летнего дня 1529 года в лесу, что на пути из Фрейбурга в Брейсгау. В тот день поднималось солнце начала месяца Ав, пекло немилосердно, и жара стояла первозданная. Сквозь сосны, высокие и прямые, как восковые свечи, виднелись просветы неба, напоминавшие сплав меди и серебра. Воздух был отягощен запахом смолы, проступающей на стволах деревьев. Все было безмолвно. Не шевелились даже иголки хвои. Низкий кустарник и карликовая трава, темные стебли и зеленоватые листья ежевики, многолетний рыжий покров из опавшей хвои, осока и пепельно-ржавые лишайники, — все было выжженно, сухо, неподвижно, словно оцепенело в ужасе: достаточно было бы одной искорки, чтобы занялась огненная буря, и весь лес был бы охвачен языками пламени!

Не слышно было животных — ни маленьких, ни больших. Не сбегала с хрустом раздвигающихся веток вниз по стволу белка, не раздавалось ни птичьего пения, ни шуршания крыльев, и редкие птицы, которых можно было заметить на высоких ветвях, казалось, слились с деревьями в совместном ожидании грядущих перемен.

Жара в лесу тяжелее, чем в открытом поле или на улицах города. Негде разгуляться ветрам, нет им простора. Зной словно изливается из небесного изобилия все в одно и то же пространство ограниченного воздуха и, стиснутый, застывает в нем. Тем более, что этот лес, — находящаяся на возвышенности часть Шварцвальда, — оказался как будто прямо под источниками зноя.

Долгое время ничто не нарушало спокойствия на петляющей среди стволов дороге, словно застывшей в предчувствии вторжения. Но вот оно и произошло. Из глубин чаши вынырнули два человека, отличающиеся друг от друга внешностью и одеждой. Тот, что выше ростом, нес на плече деревянный предмет, охваченный новым сверкающим железом (всего несколько дней назад он уплатил за него сполна на границе с Францией, где это оружие, стреляющее смертоносными стрелами, разрывающими воздух, называют аркебузой). Он был в шапке с цветным пером, его зеленые бархатные штаны были заправлены в высокие сапоги с кожаными шнурками, а поверх расшитой рубахи висела расстегнутая серая куртка. Рядом шел твердым шагом его низкорослый широкоплечий спутник, похожий на батрака. Одет он был в длинную, грубой материи рубаху и узкие штаны, доходящие до дырявых кожаных сандалий. На голове его была большая соломенная шляпа, вроде тех, что носят итальянцы, а на ремне висела охотничья сумка и короткий топор.

Шли они бок о бок, не разговаривая.

Высокий вдруг остановился, напряженно прислушиваясь к чему-то. Так же поступил и его попутчик, как будто выполняя обязанность во всем ему подражать.

— Кажется, кто-то ходит за деревьями! — произнес высокий приглушенным голосом.

— Да, двое, — откликнулся эхом низкорослый слуга. — Они недалеко.

С этими словами он прикинул ухом к стволу крупного дерева.

— Двое и недалеко, — повторил он, — и с ними четвероногое.

— У тебя не только заячья душа, но и заячьи уши. Давай переждем в яме до их прихода. Застигнем их врасплох.

— Как прикажете, мейстер Швайнсхойт.

В несколько прыжков они очутились в канаве на обочине дороги. Земля в ней была бурая, скалистая и сухая. Вслед за ними свалилось несколько валунов. Присев на корточки, они стали почти незаметны.

Не прошло и десяти минут, как из-за деревьев со все возрастающим шумом вышли два человека, ведущие худосочного облезлого мула, по бокам которого висели перемазанные дегтем бочонки. Одежда их была вся запачкана черной жидкостью. Шляпы с опущенными полями и желтые заплаты в форме сердца на груди выдавали в них евреев. Один из них с силой тянул упирающуюся скотину за поводок, а второй, неся на плече котомку, подвешенную к жердочке, погонял ее сзади обломанной веткой. Выйдя на дорогу, они остановились и посмотрели по сторонам. Вытирая пот фалдами своих длинных одеяний, стояли они, словно дивясь давящему безмолвию.

Путники все еще были взволнованы и встревожены тем, что произошло с ними во время ночевки в лесу. Это была ночь бдения и великого страха.

Они не сомкнули глаз, томясь невыносимой жарой, ворочаясь на подстилке из шишек и хвои, то хватаясь за ближайшие корни, то подсовывая руки под голову, то закрывая лица руками, но им так и не удалось уснуть. К тому же запах смолы словно наполнял их бессонным дурманом. И вдруг в непроницаемой мгле (серб новорожденной луны быстро исчез), совсем рядом, среди залежей хвороста, валежника, трухи, раздалось что-то вроде сухого треска огня — звук, известный им с малолетства, когда они разводили костры себе на потеху. Судя по звуку, это, без сомнения, был огонь. Но как ни вглядывались они, напрягая зрение, в темноту между деревьями, нигде не видели ни единой искры, ни малейшего отблеска. Они снова улеглись, и снова раздался этот проклятый треск. Неужели

застигнет их стремительное пламя здесь в лесу, среди истекающих смолой деревьев и сухой опавшей хвои, неужели погибнут они в бушующем зареве? Воображение рисовало им все более устрашающие картины, и по мере того, как они говорили об этом друг с другом, возрастал охвативший их ужас.

Треск между тем не прекращался, замирая на мгновения и возобновляясь с еще большей силой. Встав, они пошли вслепую на поиски, прислушиваясь друг к другу и к мулу, привязанному к дереву, чтобы не потерять его, отдалившись. Но так ничего и не найдя, они воротились ни с чем. Тьма, как и прежде, оставалась непроглядной, треск продолжал усиливаться.

— Пламя невидимое, — сказал тот, которого звали Энзель, содрогаясь всем телом.

— Пламя не разведенное, — стуча зубами, ответил ему в тон цитатой из книги Иова знавший ее всю наизусть, ибо он был человеком сведущим в Писании, а звали его Лемлин.

Треск и разрывы не затихали. И раздавались они не с какой-то одной стороны, а сразу ото всюду. Решив препоручить Господу заботу о своей жизни, путники вновь улеглись вблизи мула, предварительно ощупав его с головы до кончика хвоста, но тот стоял безмятежный, как ни в чем не бывало, издавая жующие звуки и хлопая себя хвостом по бокам. Заснуть они уже не могли. До рассвета продолжался треск, напоминающий шум всепожирающего огня. Они отправились выяснить, в чем же смысл происходящего; вдруг на них и вокруг них посыпались какие-то плоские и твердые, светлые ядрышки, больно их ударяя. Обратив вверх свои взоры, они увидели незнакомое дерево, непохожее на все остальные, с длинными ветвями, крупными мясистыми сочно-зелеными листьями и все увешанное стручками, напоминающими бобы или рожки, которые лопались, выстреливая во все стороны

ядрышками. Так объяснился ночной треск.

Энзель сплюнул в сердцах и сказал:

— Вот ведь напасть! И из-за этого мы дрожали всю ночь?

— Тьфу-тьфу-тьфу! — сплюнул и Лемлин. — Чего я только не навообразил, разразись оно на головы вагантов!*

Совершив омовение рук водой из фляжки, они возложили филактерии** и прочитали утреннюю молитву. Затем подкрепились припасами из котомки и отправились в путь. В течение трех часов брели они между деревьями леса, еще не оправившись от ночных страхов, измученные и хмурые от недосыпания. Выйдя на безлюдную дорогу, они остановились в нерешительности, не зная, куда повернуть.

Пока они так стояли, послышался звук рожка, эхо ответило ему ломкими трелями со всех сторон, затем где-то прогрехотал взрыв, гулко отдаваясь по всему лесу, отчего, казалось, заплясали деревья.

Оба молодых человека были крайне напуганы, мул отпрянул назад, поднял уши торчком и пригнул шею (движение, унаследованное от осла-отца!). Юноши поглядели в разные стороны, но ничего особенного не увидели. Только белка пронеслась рыжей молнией с дерева на дерево, да две-три птицы испустили тревожные крики и затихли. Где-то шагах в ста от них поднялось в воспаленную высь небольшое облачко дыма.

— Убежим и спрячемся за деревьями! — вскричал Лемлин, который был так молод, что даже не имел

* Ваганты — бродячие студенты-христиане, часто высмеивавшие евреев, а порой и задиравшие их.

** Филактерии (тфиллин) — кожаные коробочки с отрывками из книг Исход и Второзаконие, которые накладываются совершеннолетними евреями на левую руку и на лоб во время ежедневной утренней молитвы.

еще пушка на подбородке, — это или разбойники, или демоны!

— Глупец, разве вокруг нас нет деревьев? — ответил Энзель, чье миловидное, хоть и немытое лицо обрамляла светлая, мягкая, как пух, борода.

— Да, деревья есть всюду, дорога пуста и никого нет, — Лемлин взъерошил рукой свои волосы. — Опять всякая чертовщина, как минувшей ночью.

Из придорожной канавы, откуда прежде поднимался дым, разом высунулись две головы, одна выше другой. От страха у обоих юношей едва не отнялись языки.

Два человека вышли на дорогу и направились в сторону юношей.

— Хвала Всевышнему! — произнес Энзель сдавленным голосом. — Это охотник и его слуга — оруженосец. Они не причинят нам зла, слышишь, Лемлин, — никакого зла.

— Да услышит твои слова Владыка Мира! — отвечал Лемлин. — Сердце не предвещает мне ничего хорошего.

— Наградили глупца пророческим даром, — сказал Энзель.

Лемлин умолк.

Те двое приблизились к юношам, словно ожидавшим их.

— Откуда и куда, семя иудейское? — прогремел голос охотника. Лицо его побагровело от жары и напряжения.

Слуга подошел к мулу и тщательно осмотрел бочонки снаружи и изнутри, сначала один, затем второй, покачивая при этом головой.

— В Страсбург, милостивый сударь, в Страсбург держим путь.

— Я спросил также, откуда?

Энзель, заметивший поведение слуги, посмотрел долгим взглядом на своего товарища, вовсе

не ища у него ответа, а лишь пытаюсь скрыть от вопрошавшего свои тщетные усилия найти правильный ответ. Наконец, он обратился к охотнику с вопросом:

— Сударь желает услышать правду?

— Разумеется. Правду и только правду.

— Из далекого города Регеншпурга.

— Фью! — охотник издал губами режущий ухо свист и хлопнул себя по щеке левой рукой, так как в правой он держал ствол оружия, лежавшего у него на плече. — Из Регенсбурга?! А что это вы делали в Регенсбурге, откуда все семя иудейское было изгнано еще десять лет назад и где, как известно, не осталось ни одного еврейского копыта?!

— Потому-то мы туда и ходили.

— Еврей насмехается над нами, — произнес слуга, не меняя выражения лица.

— Пусть посмеется, — все равно ведь отправлю на тот свет. Так зачем вы ходили в Регенсбург?

— По велению нашего мудрого учителя. Мы оба — бедные юноши, изучающие Закон Моисеев, и воля нашего учителя для нас свята.

Все это время, пока говорил Энзель, Лемлин стоял, онемев от изумления и страха, не понимая, почему его товарищ решил говорить правду после всех ухищрений, к которым они прибегали с того самого дня три недели назад, когда вышли в свой опасный путь. Однако он испытывал безотчетное доверие и уважение к Энзелю, известному как человек остроумный и находчивый, сведущий в человеческих побуждениях и склонностях.

Именно по этой причине избрал Энзеля их мудрый рабби для выполнения задания, приставив к нему Лемлина, юношу преданного и всегда готового совершить добрый поступок.

— И что же велел вам ваш учитель? — продолжал Швайнсхойт допрашивать Энзеля.

— Он велел доставить оттуда святые Свитки, оставшиеся у одного доброго и честного христианина, бочара, получившего их на хранение от главы регеншпургской иешивы в злополучный день изгнания общины израильской из города. Это книги, без которых мы не можем изучать наше Святое Учение.

— И где же свитки?

— Здесь, в бочонках. Мы уложили их в двойное дно, прибегнув к этой хитрости, чтобы уберечь их от разбоя. Мы опасались не только грабителей-христиан, но и тех еврейских юношей, которые воровство книг и свитков не считают грехом.

Лемлин не переставал дивиться своему другу. Слуга подошел к собеседникам и сказал своему господину:

— Бочонки имеют двойное дно. Евреи прячут в них запрещенные вещи.

— Сейчас же проверим, сейчас же. Иди к бочонкам, Эльбрих, и раскрой их своим топором!

— Как прикажете, мейстер Швайнсхойт! — ответил слуга, вынул топор и стал, играючи, подбрасывать его и ловить на лету.

Мольбы юношей оказались бесполезны. Вид монеты, которую Энзель показал Швайнсхойту, лишь подогрел гнев последнего:

— Подлые евреи! Пройдохи! Святотатцы! Подкупить меня пытаетесь?! Вы у меня жизни не увидите!

Топор Эльбриха с силой обрушился на бочонек, висевший на боку мула. Скотина чуть не рухнула от удара. Заклепки старого бочонка разлетелись в стороны, и на свет появился матерчатый мешок, заполнявший всю его внутренность. Еще два удара топором, и бочонка словно и не бывало, а мешок вывалился на землю.

— Черт побери! Развяжите узел! Немедленно! — приказал юношам Швайнсхойт.

По знаку Энзеля Лемлин опустился на колени

и принялся развязывать мешок. Через несколько мгновений все увидели пергаментные свитки и листы плотной арабской бумаги, похожей на пергамент. Они лежали одной связкой, книги, написанные ореховыми чернилами, крупным и мелким квадратным шрифтом, старые и новые манускрипты, пожелтевшие и белые.

— Святые книги, кунтресы, комментарии, — стал объяснять Энзель. — Без них мы не можем учиться, а без изучения Закона Моисеева, милостивый сударь, жизнь еврею не в жизнь. Нам легче не пить и не есть, чем не учить нашу Святую Тору.

— В нынешние времена и у нас хватает таких безумцев, — ответил Швайнсхойт, которому пришлось по душе как находка, так и правдивые слова юноши, — и их становится все больше. Издают всякую чушь и распространяют в рукописях и печати; даже разговаривают на латыни, как монахи, вместо того, чтобы изъясняться на языке своих родителей.

— Разбить второй? — спросил Эльбрих, держа топор над вторым, еще не тронутым бочонком.

— Смилуйтесь, сударь! — воскликнул Энзель и протянул руку, словно пытаясь задержать готовящееся свершиться. — Зачем же разбивать второй бочонок, в котором содержится то же, что и в первом?! Ведь вы убедились, что я говорю правду.

— Тем не менее, коль скоро мы уже разбили первый, по справедливости следует нам разбить и второй, дабы не породить между ними зависть, — заявил Швайнсхойт, упиваясь собственным остроумием.

Слуга поспешил исполнить волю своего господина.

Во втором бочонке, как и в первом, были книги.

— А может быть, вы соглядатаи? — попробовал Швайсхойт новый повод для придирок. — Я знаю

из Ветхого Завета, который читал в переводе преподобного Лютера, что отцы ваши были соглядателями. И кто знает, не поносятся ли в них, в ваших книгах, Святая Церковь и Спаситель, как доказал в своем правдивом труде ваш собрат Пфефферкорн*. Я не ученый и не понимаю латыни, однако же книгу его "Зерцало руки" о еврейских сочинениях читал.

— Слуги ваши не соглядатеи, мы — люди честные, — вскричали оба в один голос, повторяя слова Иосифовых братьев, — и нет хулы в наших книгах.

— В них одна богобоязненность и любовь к ближним, — добавил Лемлин.

Швайнсхойт постоял немного, погруженный в размышления. Затем он сказал:

— Неподалеку отсюда, на постоялом дворе "Цум Эбер" ("У кабана") находится сейчас общество ученых мужей из Швейцарии, направляющихся во Фрейбург. Они ждут там уже третий день разрешения на въезд в город. Мне говорили, что это люди весьма мудрые, сочинившие множество книг на латыни и греческом; они знают и древнееврейский язык. Я отведу вас к ним, и они проверят ваши свитки. Если не найдут в них никакой хулы, отпущу вас. Я не разбойник с большой дороги, а отпрыск знатных рыцарских родов, и девиз мой — справедливость.

Энзель внимательно посмотрел на говорящего, и ему показалось, что лицо последнего и в самом деле выражало некоторое благородство. Страх его постепенно улетучивался.

— Тебя спасло то, что ты сказал правду, — продолжал Швайнсхойт. — Если бы оказалось, что

* Иоганн Пфефферкорн (1469—1521) — еврей, принявший в 1505 году крещение. При его содействии церковью была разработана программа антиеврейской пропаганды. Пфефферкорн опубликовал несколько памфлетов, в которых писал, что "еврейская письменность пропитана враждой к христианству".

ты лгал, я бы продырявил твои внутренности разящим клинком, а затем повесил бы тебя на дереве на корм птицам небесным. Теперь собирайте живо свое имущество и — на постоянный двор!

— Как же нам нести книги, когда нет бочонков? — спросил Лемлин, глядя с несчастным видом на остатки черных и белых заклепок, валяющиеся на земле.

— Заверните их в материю и навьючьте на мула. Ничего с ними не случится. Только поторопитесь, иначе нам могут повстречаться другие почтенные люди и мне, возможно, вместо того, чтобы отпустить, придется передать вас в руки королевских солдат. И тогда, кто знает, не попадете ли вы к арнольдцам.* А уж они-то с вами расправятся, что уже проделывали не раз с вашими собратьями в отместку за осквернение лютеранами их икон. Я видел своими глазами, что они вытворяли в одном бенедиктинском монастыре в деревне возле Констанцы. В них бушевало святое пламя, но следует признать: поступки они совершали мерзкие.

“Человек изменчивый, но с доброй душой”, — подумал Энзель, и остаток его страха бесследно испарился. Даже испуганные глаза Лемлина сделались немного спокойнее.

— Поторапливайтесь, нам идти около часа. Из-за вас вернись сегодня домой с пустой сумкой. Не так ли, Эльбрих?

— Точно так, мейстер Швайнсхойт.

— Делайте, еврейские юнцы, то, что я вам велел, а не то... — и он снял с плеча свое оружие.

Юношам не оставалось ничего иного, как снова увязать книги в два мешка и повесить их по бокам взмокшего мула.

* Арнольдцы — монахи-бенедиктинцы, названные так в честь Арнольда из Тунгрена, известного гонителя евреев.

Через несколько минут вся процессия двинулась в путь. Возглавлял ее Швайнхойт с аркебузой на плече; за ним Энзель вел на поводке мула, на сей раз с готовностью трусящего по дороге, так как его ноша заметно полегчала и бочонки больше не натирали бока. Лемлин погонял мула сзади веткой. А в арьергарде шагал Эльбрих, с топором, засунутым за пояс, и с таким видом, словно никогда не пользовался им.

II

Третий день подряд Дезидерий Эразм*, его секретарь Август Бривис (прежде звавшийся Август Курц) и Виллибальд Пиркхаймер**, благородный гуманист из Нюрнберга, жили на постоялом дворе "Цум Эбер", находящемся на дороге, ведущей во Фрейбург.

Пиркхаймер не раз приглашал мэтра погостить у него в Нюрнберге (в доме его бывали все великие люди его времени), но тот все не приезжал. Недавно от Эразма пришло письмо, в котором говорилось: "Всюду, куда дотянулась рука Лютера***, наступает конец науке и искусству". Далее шло описание того, что происходило в Базилии****, — раз-

* Эразм Дезидерий Роттердамский (1466 или 1469 — 1536) — ученый-гуманист, виднейший представитель Возрождения. Из его многочисленных произведений наибольшей известностью пользовались сатиры "Похвала глупости" (1509) и "Разговоры запросто" (1519), в которых вскрывались и высмеивались пороки современного ему общества. Он был решительным противником Реформации.

** Виллибард Пиркхаймер (Пиркхеймер, 1470—1530) — немецкий гуманист, глава Нюрнбергского кружка гуманистов; друг А. Дюрера. Первоначально поддерживал Лютера, но затем стал противником Реформации.

*** Мартин Лютер (1483—1546) — деятель немецкой Реформации, основатель протестантизма. К концу жизни изменил свое отношение к евреям и стал их беспощадно преследовать.

**** Базилия — латинское название города Базель.

гром и уничтожение лучших произведений человеческого духа и человеческого мастерства. Эразм сообщал, что собирается ехать во Фрейбург, все еще сохранивший преданность старой церкви (он уже переслал туда большую часть своих книг и имущества), откуда продолжит путь в Англию, к своему другу Томасу Мору*. Получив письмо, Пиркхаймер решил немедленно повидаться с мэтром, ведь в дальнейшем такого случая может больше не представиться.

Его, этого мятущегося человека, всю жизнь боровшегося со своими склонностями в попытках навязать себе образ мышления и жизненный уклад стойков и впавшего от избытка усилий в душевную слабость, сильно тянуло к мэтру.

В эти дни великих событий, когда победно множились разнузданность и деспотизм, прикрываясь учением о любви и милосердии, Пиркхаймер пребывал в постоянной борьбе со своей совестью, испытывая мучительную потребность в обществе этого выдавшего виды человека, который, возможно, наставил бы его на путь истинный и унял бы его печаль.

Еще в 1518 году он почувствовал грозную силу, исходящую от Лютера, когда тот, во время своего возвращения из Аугсбурга, гостил у него, сказав напоследок: "Посему необходимо душить и искоренять, тайно и явно, всякого власть имущего, памятуя о том, что нет создания более ядовитого и соблазненного дьяволом, нежели нынешний человек". С тех пор жил он в страхе, не находя покоя.

В роскошной карете, запряженной отборными лошадьми, выехал он из Нюрнберга, надеясь застать Эразма еще в Базилии. Ночь, день и ночь,

* Томас Мор (1478—1535) — английский гуманист, утопический социалист, государственный деятель. Гуманистические взгляды Мора на историю отразились в его главном труде "Утопия".

устранивая лишь по необходимости короткие привалы, мчался он горами и долинами и прибыл в Базилию через два часа после того, как мэтр отплыл кораблем по Рейну. Сменив загнанных лошадей на свежих, он поспешил сушей во Фрейбург и на следующий день нашел Эразма и его секретаря на постоялом дворе "Цум Эбер", куда те прибыли незадолго до того прямо с корабля. Некоторые из их сундуков с вещами и гардеробом еще стояли на улице, так как их не успели внести внутрь.

Пиркхаймер знал, как выглядит Эразм по миниатюрному портрету работы Гольбейна, который приверженцы мэтра копировали и распространяли повсюду. Портрет оказался достоверен: то же суровое лицо, та же грустная улыбка, блуждающая на полных губах, выступающие скулы и впалые щеки, крепкий заостренный нос, усеченный подбородок с ямочкой, придававшей ему мягкость, те же небольшие умные глаза, глядящие вдаль, как бы сквозь собеседника. Однако, по сравнению с портретом, мэтр очень постарел, ссутулился. меховая накидка нескладно висела на его худом длинном теле, волочась по земле. Он придерживал ее на животе обеими руками, чтобы не распаивалась, и пальцы его правой руки заметно дрожали.

Эразм обрадовался прибывшему к нему знаменитому воителю во имя гуманизма, обнял его и сердечно расцеловал. Затем представил своего секретаря, молодого, невысокого и худощавого человека, чье мрачное лицо не освещалось ни единым лучом радости.

— Мой секретарь Август Бривис. В лучшие времена у меня был целый полк секретарей, и вот остался лишь один. Я не в состоянии написать ни единого слова, — протянув к Пиркхаймеру свою точеную, необыкновенно красивой формы кисть руки, он показал, как она дрожит.

— "Писчий спазм", — продолжал он. — В своей жизни я писал слишком много и по сей день не свободен от этой страсти, без которой не мыслю себе существования. Милостивый Господь послал мне бывшего ученика записывать под мою диктовку. В прошлом вагант, он предан мне и моему учению, — и, обратившись к Бривису, добавил: — Благослови вас Господь, сын мой!

Лицо секретаря выражало горечь самопожертвования. С тех пор, как он пошел за великим мэтром, не осталось у него никаких страстей, кроме одной: служить учителю и защищать его. Он был готов в любую минуту отдать за него жизнь, если бы была на то необходимость.

— Видите ли, Виллибальд, я напоминаю себе состарившегося царя Давида — кутаюсь в одежды, а согреться не могу. Если бы не эта добрая накидка — моя верная подруга, я бы давно замерз. Но и в ней мне не жарко. Общество же наложниц если и пристало царю, то никак не бедному ученому. Не так ли? Старость не радость.

Встреча проходила во дворе перед гостиницей. Дул прохладный вечерний ветер, приносящий время от времени волны тепла.

Пиркхаймер не был доволен светской беседой, которую повел Эразм. Ему хотелось поговорить о предметах важных, переполнявших его душу и причинявших ему невероятные страдания. Несколько вопросов уже были готовы сорваться с его губ, но старик продолжал говорить о себе.

— Вам, разумеется, известно, что короли и вельможи не раз призывали меня, обещая богатство и почет. Сам Медичи* пытался меня заманить. Но я не могу подчинять свой дух. Мое призвание — свобода, невзирая на бедность. Хоть я и ценю

* Имеется в виду Папа Лев X, принадлежавший к флорентийскому роду Медичи и известный своим покровительством ученым и людям искусства.

комфорт и почет, но истину и свободу ценю еще выше. Оттого-то я и не склоняюсь ни к одной из двух сторон*. И скажу вам по секрету: старых я ненавижу, а новых презираю. В поступках и тех и других господствует тирания. Тому я свидетель и очевидец.

— Мне бы хотелось поговорить с вами побольше на эту тему.

— Как хотите, сердечный друг. Мы еще успеем наговориться до того, как я смогу въехать во Фрейбург. Мысли мои заняты сейчас сочинениями. Это улада моей жизни и залог существования. Разве не так, Август?

— Да, великий магистр, — отвечал Бривис не задумываясь.

Пиркхаймер был полной противоположностью Эразму: мужчина выдающейся физической силы, с крупной головой, увенчанной солдатской шапкой. Гладкое лицо, перебитый нос, открытые полные шея и затылок. Одет он был в плащ, толстые бедра втиснуты в штаны для верховой езды. Приказав своему кучеру поставить карету под навес и заняться лошадьми, он обратился к старому Мирцелю, хозяину постоялого двора, и спросил, есть ли три удобные комнаты для господ, прибывших до него, и для него самого. Герр Мирцель, сообразив с одного взгляда, что имеет дело с особами высокопоставленными, отвесил поклон до земли и поинтересовался смиренным тоном, желают ли господа комнаты внизу, или на чердаке, где воздух чище, но ведь "не всякий — любитель лестничных пролетов". После чего вновь согнулся перед тремя гостями.

Выбрали чердак, так как там было всего три комнаты, и, таким образом, весь чердак представлялся в их распоряжение.

На постоялом дворе Эразм узнал, что вот уже

* Имеется в виду ни к католицизму, ни к лютеранству.

две недели никто не может ни въехать во Фрейбург, ни выехать из него без охранной грамоты городских властей. Запрещение это соблюдалось неукоснительно, и исключений никому не делалось.

Эразм продиктовал секретарю письмо к самому влиятельному из своих друзей в городе, и герр Мирцель отправил его со своим внуком, закаленным и веселым пареньком, во Фрейбург, строго наказав тому не являться назад без грамоты.

Прошло два с половиной дня, а посланец все не возвращался. Пребывание на постоялом дворе было приятным, комнаты и обслуживание — хорошие, а еда и питье — просто великолепны. Но уже в первую ночь не хватило воздуха, и Эразм плохо спал и ослаб. Вернулись боли в желудке, и из всего обилия блюд, подававшихся герром Мирцелем собственной персоной, он мог себе позволить лишь цыплячье крылышко, стакан бургундского, да какой-нибудь фрукт. "Сердце у меня католическое, да вот желудок лютеранский", — говаривал он. Вообще же в еде и питье Эразм был гурманом с тех времен, как служил учителем у лорда Маунтджоя в Англии. Пивом он гнушался и не переносил запаха рыбы.

Весь первый день он пребывал в веселом расположении духа, в противоположность своему печальному виду. Подыскав себе уголок в задней стороне широкого двора под раскидистым вязом, они с Пиркхаймером усаживались в его тени и беседовали в течение дневных часов обо всем на свете.

Разговаривали на латыни, не опасаясь, что их услышат местные обитатели или заезжие гости, предававшиеся обжорству и пьянству в отдаленной от них части двора, либо игравшие в кости и сопровождавшие игру взрывами хохота. Говорили только двое, Эразм и Пиркхаймер, а сидевший рядом Бривис, не принимая участия в беседе,

жадно ловил каждое слово, исходящее из их уст, и старательно конспектировал разговор на листе бумаги. Лишь иногда, не расслышав чего-нибудь, со смирением просил повторить последнюю фразу.

У них, собственно, не было никаких существенных разногласий в оценке событий. По мнению обоих, разгоревшаяся религиозная полемика, бывшая ничем иным, как прикрытием борьбы за власть и столкновения интересов отнюдь не божественного происхождения, угрожала науке и духовной свободе. За последние годы Эразм не в малой степени разуверился в способности разума победить глупость, смирить инстинкты человека и управлять его языком. Он пришел к заключению, что истинному человеку духа следует служить одной лишь мудрости, сторонясь до поры до времени бушующей злобы дня. Сатирическая "Похвала глупости", написанная им много лет тому назад, обернулась горькой действительностью.

Пиркхаймер, однако, полагал, что ученый муж столь высокого ума и влияния не вправе удаляться от событий, и если он не поддерживает (и притом справедливо) ни одну из сторон, то ему следует открыто заявить свое мнение об обеих. Известно, насколько и те, и другие заинтересованы в его авторитете, посему, зная, сколько зла и в тех и в других, — а уж в этом-то с ним Пиркхаймер вполне согласен, — он должен обнародовать свое к этому отношение бесстрашно и безоговорочно. Если кто-то дерзнул заявить: "Я здесь стою..."*, то тому, кто превзошел его величием, следует сообщить всем открыто, где же стоит он. Да и как отнесутся его недоброжелатели к тому, что он по-прежнему ходит в старую церковь?..

При этих словах, произнесенных с чувством и горячностью, Эразм не изменился в лице, лишь

* "Я здесь стою и не могу иначе" — слова, принадлежащие Лютеру.

горькая скептическая улыбка появилась на его бледных губах.

— Человеку удобнее сносить те неприятности, к которым он привык, — спокойно сказал он.

В действительности же ему хотелось лишь одного: сохранить статус ученого, стойка (не эпикурейца, как обвиняли его многие), мудреца, человека разносторонних познаний, образца для всех ищущих премудрости. Он хотел, чтобы ему дали и впредь заниматься открытием сокровищ античной мысли, вновь и вновь корректировать свои книги и писать новые, насколько позволит отпущенный ему век.

Ему казалось, что это ему будет легче там, где старое еще не сменилось новым. Нельзя строить, где только разрушают, и нет места мудрости там, где всенародно торжествует глупость. С тех пор, как печатник Фробен издал его сочинения, предоставив ему руководить всем процессом, выбрать литеры, некоторые из которых он собственноручно нарисовал и нарезал, определить порядок страниц, расположение текста и украшений, он преисполнился страсти издавать книги одну за другой. В отношении поступков он стал скептиком. Его, как и Пиркхаймера, пугали темные силы, скрывавшиеся за деяниями этого человека, Лютера, однако он, будучи дисциплинированным ученым, умел подавить свой страх страстью к наукам и искусствам. Что же до дел мира сего, то он ограничивался тем, что заявлял вслух о своих предвидениях по поводу близких и далеких времен. Так, своему другу, кардиналу Джакомо Сандолито, он писал: "Если в ближайшие столетия великие смуты и разлад поразят сей мир, пусть же знают, что Эразм пророчествовал о них".

Да, так он и написал, а теперь повторил эти слова Пиркхаймеру. Он хочет жить спокойно, чтобы выпустить в свет еще несколько сочинений

отцов церкви; он хочет еще раз отредактировать свои книги "Адагия" и "Коллоквия", а также свой перевод Нового Завета; он хочет опубликовать еще несколько трудов античных классиков, в их числе Аристотеля; к тому же он намерен писать статьи о жизни и о человеке и, быть может, трактат об искусстве чтения проповедей. Придя к выводу, что человеческая глупость столь же вечна, как и человеческая мудрость, и, более того, одной глупости достаточно для пресуспения и совершения дел, решающих судьбу народов и государств, он в своем одиночестве желает служить только мудрости, чьих слуг становится все меньше и меньше.

Пиркхаймер, в отличие от него бывший человеком чувства со смятенным сердцем, считающий, что он уже принес немало жертв на алтарь человеческого духа и свободы, не женившийся вторично после смерти жены, отдавший своих сестер и дочерей в монастырь, полностью посвятивший себя распространению мудрости, веривший в победу над ложью, лицемерием и деспотизмом, — Пиркхаймер, олицетворение скорби, хотел получить при жизни вознаграждение за свою праведность.

Почти шесть часов подряд сидели они под вязом, обсуждая одни и те же темы, подкрепляя свои слова аргументами и цитатами из древних и новых мудрецов; Бривис исписал множество страниц. На следующее утро, усевшись под деревом (посланец все еще не вернулся, а жара усиливалась), они вновь вернулись к тем же вопросам. Пиркхаймер сидел с непокрытой головой, сбросив даже плащ, изнемогая от зноя. Эразм, как обычно, закутанный в меховую накидку, был в шапке, кисть его правой руки дрожала. Он понимал, что происходило с его собеседником, и хотел бы воздать этому чудному человеку, потратившему столько усилий, чтобы только повидаться с ним, за его любовь и благоговение. Однако ему удалось лишь

отчасти успокоить его отечески покровительственными словами, настоящих доводов у Эразма не нашлось. Пиркхаймер, человек тонкий и чувствительный, не удовлетворялся ответами, за которыми не стояло веры, и, оспаривая и опровергая собеседника, требовал чего-то более определенного.

Отчаявшись добиться желаемого, он заговорил по-другому, он открыл мэтру снедавшую его тревогу о своем близящемся конце.

— Хотя я и моложе вас, уважаемый учитель, на три года, но чувствую, что дни мои сочтены. Я не болен, не имею никаких недугов, вы видите, с каким аппетитом я ем, но чувствую, что смерть увязалась за мной. А мне не хочется умирать в отчаянии от того, что вся жизнь, все мечты были напрасны. Такая смерть вселяет в меня ужас.

Несколько раз, все в новых выражениях, возвращался он к этой теме, и Бривис старательно записывал, но Эразм отделялся ни к чему не обязывающими фразами, вроде "никто не знает своего часа", и переводил разговор на другой предмет.

Весь тот день они говорили о реформации, вскрыли ее корни и причины, ее неизбежность и ее извращения, главные и вспомогательные факторы, обсудили ее в целом и в частностях и так дошли до роли евреев в ее возникновении и распространении.

— Если бы не этот презренный выкрест, — сказал Эразм, — невежественный и бессовестный резник Пфефферкорн, возможно, события развивались бы иначе. Он был воистину лишь инструментом самых темных сил церковной иерархии (не сомневаюсь, что его убогие сочинения были несамостоятельны), но его упрямая тупость и ненависть к своим одноплеменникам сыграли на руку противни-

кам папизма. Если бы не его косноязычные пасквилы, Рейхлин* не объявил бы столь яростную войну церкви, а вы, Виллибальд, с беднягой Гуттеном** ("о мертвых или хорошо, или ничего" — я стер из своей памяти его грубые нападки на меня!) не дошли бы до написания "Послания к мракобесам", основная часть которых направлена на подрыв фундамента старой религии.

От Пфефферкорна перешли к евреям и иудаизму. Эта тема захватила обоих, словно после долгих и изнурительно безысходных споров, которым они предавались весь вчерашний день, у них наконец нашлось, за что ухватиться.

Оба придерживались мнения, что единственным спасением для этого народа является христианство. Согласились они и в том, что Лютер своими ранними благожелательными выступлениями о евреях пытался привлечь их к христианству, — к своему христианству, разумеется. Но в скором времени ему стало ясно, что он ошибся, и евреи-раввинисты отнюдь не собираются оставлять свою веру. Тогда, охваченный бешенством и ненавистью, он стал проповедовать, что "их следует уважать, но не поддерживать", иными словами — исхитрившись, сжить со света. От этого до открытого при-

* Иоганн Рейхлин (1455—1522) — немецкий гуманист, юрист, филолог, лучший в свое время в Германии знаток древних языков, особенно древнееврейского и древнегреческого. Выступление Пфефферкорна с нападками на евреев побудило Рейхлина встать на их защиту. Развернувшаяся и продолжавшаяся несколько лет вокруг "дела о еврейских книгах" борьба осталась в истории под названием "рейхлиновский спор". Рейхлин — первый ученый, который ввел изучение еврейского языка в курс университетского преподавания. Им же создана грамматика еврейского языка (первая грамматика такого рода, написанная христианином).

** Ульрих фон Гуттен (1488—1523) — немецкий гуманист и политический деятель, один из авторов (вместе с И. Рейхлиным) сатиры "Письма темных людей". Находился в оппозиции к Лютеру.

зывает к уничтожению дорога недалеко. Лютер (будучи поглощен мыслями о себе) не понял природы этой странной нации. Даже если они не примут христианство, — а судя по всем признакам, так оно и будет, — они не прекратят своего существования, несмотря на все преследования, резню, изгнания. Но в конце концов они совершенно измельчатся, и причиной тому — их неотступное желание заниматься лишь божественной мудростью.

Когда-нибудь оскудеет их жизненная сила, ибо выдохнется мудрость, лишенная соли земных забот. Они уже сейчас подобны привидениям среди живых людей.

Пиркхаймер, слушавший краем уха, вдруг очнулся и спросил:

— Однако ведь и вы, многоуважаемый учитель, желаете предаваться чистой мудрости, отрешившись от всего того, что вы зовете "глупостью".

— Я? — Эразм взглянул на него своими пытливыми глазами. — Я — это я. **Я — отдельная личность.** Отдельная личность так или иначе смертна. Если не в этом году, так через пять, через десять лет я умру, и мудрость моя останется лишь в книгах, перестав мне принадлежать. Иное дело — нация, чей конец не наступит естественным путем, нация, отличающаяся самым решительным образом от других, подвластная неким, скрытым от меня, высшим законам. Вы, конечно, помните мои слова в "Похвале глупости" о безотчетных стремлениях, доминирующих в нашем мире над разумом. Лишь в государстве "Утопия" моего великого друга Томаса Мора, изданной мной одиннадцать лет назад в Базилии (кто знает, что ждет этого непорочного человека?!), все организовано в согласии с разумом, ибо оно утопично. Разум несовместим с властью, любезный мой друг, и в этом вопросе ошибался наш древний учитель Платон. Истинный, незамутненный разум противится всякой власти. Логика, порядок и красота во-

царятся в действительности, но не принудительно, а по божественной необходимости. Я предвижу эту действительность, но в очень, очень отдаленном времени. Кто знает, сколько пройдет столетий до тех пор, пока будет на то воля Провидения. Одного человеческого желания для этого недостаточно.

— А что же будет в близкие времена?

— Войны, зависть, ненависть и жестокость. Человеческие устремления скинут свои покровы. Возможно, через двести, через триста лет наше учение воссияет в новом свете, люди научатся сдерживать свои инстинкты, скинут порабощающее их ярмо, как материальное, так и духовное, и будет править свободный дух. И тогда сбудутся слова нашего пылкого и страдающего юного друга Ульриха: "Дух пробудился; как радостно жить!"

— А что будет потом, через четыреста лет?

— Трудный вопрос, сын мой. Человеческий взгляд не в силах пробиться сквозь кристалл времен. Он лишь скользит по поверхности. Не исключено, что инстинкты вновь поднимут голову и начнут требовать свое. И все начнется сызнова.

— Неужели это так?

— Мы уже видели Лютера в начале и в конце его деятельности, — кто знает...

После этих слов установилось тягостное молчание. Даже Бривис сидел тихо, рассеянно грызя перо и устремив невидящий взгляд в пространство.

В тот день они больше не спорили. Жара усиливалась. Эразм все больше беспокоился о запаздывающей охранной грамоте. Герр Мирцель успокаивал его: "Мой внук Курт — продувная бестия, хоть у черта вырвет грамоту и доставит!"

По предложению Пиркхаймера они вышли погулять около постоянного двора. Пройдя немного лесом, тотчас воротились, ибо там, в гуще деревьев, жара была еще тяжелее, чем на открытом

месте. Вернувшись, стали развлекать себя легкомысленной болтовней. Эразм поделился воспоминаниями о временах его схимничества, а также рассказал о том, как он обучал юного лорда Маутджоя. Пиркхаймер припомнил о периоде своей службы в армии. И даже Бривис поведал о том, как в детстве его изрядно поколотила младшая сестра.

Ночь была бессонной и тягостной. Двери и окна оставались открытыми до самого утра, но не было ни малейшего ветерка. В помещениях и во дворе было одинаково жарко.

Утром третьего дня Пиркхаймер и Бривис встали рано, а Эразм остался в постели. Бривис зашел к нему и нашел его очень ослабевшим и уставшим. Он отклонил предложение секретаря принести ему легкий завтрак. Лишь в десять часов спустился он с Бривисом к вязу, под которым дожидался его Пиркхаймер. Там он немного подкрепился, выпив кружку простокваши, принесенной Мирцелем собственноручно из подвала. Простокваша была свежа и прохладна и мягко отрезалась деревянным ножом, ложась дрожжащими пластинами.

После еды и повторных заверений Мирцеля, что юноша больше не задержится с грамотой, Эразм слегка оживился, и они вернулись к беседе. Рассказав о многих своих друзьях в разных странах и высказав свое мнение о каждом в отдельности, упомянув в особенности тех, которые обладали физическими увечьями, Эразм принялся обсуждать свои желудочные боли, затронув тему телесных недугов и медицины, науки отчасти полезной, но по-преимуществу недостоверной. Он процитировал знаменитого врача-философа еврея Маймонида, и разговор причудливым образом вновь перешел на евреев, на их невероятные достижения и странные обычаи. Так сидели они и разговаривали до полудня.

С запада неожиданно подул ветер, жара спала, повеяло прохладой. Собеседники расправили плечи и стали дышать полной грудью, почти постанывая от удовольствия. Тут же подошел герр Мирцель и, обратившись к Эразму, сказал:

— Погода изменилась. Веет освежающий ветер. Теперь и в наших ожиданиях наступит перемена: скоро вернется мой внук Курт с грамотой в руках. Его принесет ветром, не будь я Мирцель.

III

Путники, о которых шла речь в первой главе нашего повествования, шли в гору уже три четверти часа, когда вдруг повеял прохладный ветер с запада. Порыв ветра словно пробудил лес: раздалось птичье пение, послышалось шуршание хвои, шорох, производимый мелкими зверями в траве. Путники разом остановились, наслаждаясь ласковым дуновением, переглядываясь довольно и дружелюбно, как давнишние приятели.

— Слава Господу! — загремел Швайсхойт. — Теперь этот проклятый зной перестанет нас донимать. Если прибавим ходу, через четверть часа будем на постоялом дворе.

Спустя некоторое время они вышли на обширную прогалину, представлявшую собой нечто вроде лесного перекрестка дорог. Поодаль, с восточной стороны, на пригорке располагалась небольшая деревушка. Дома были одноэтажные, с красными черепичными крышами и печными трубами; лишь немногие имели чердаки и башенки. Над домами возвышалась готическая церковь.

Внизу у дороги, в глубине прогалины, находился постоялый двор. Над дверью висела картина, написанная очень живыми красками: черный лесной кабан, задрав рыло, безуспешно пытается дотянуться до ветки дуба, увешанной желудями. Выражение его колючих маленьких глазок и жад-

но раскрытая пасть с торчащим клыком были переданы настолько достоверно, что вызвали сострадание у всякого зрителя, — и это не удивительно, ибо автором картины был бродячий художник, ученик Дюрера.

Ворота, двери и окна были раскрыты настежь. Во дворе перед гостиницей, в тени деревьев, сидели за непокрытыми столами шумные постояльцы, попивая из кружек и стаканов вино и брагу. В глиняных тарелках лежала закуска.

Хозяин постоялого двора, герр Мирцель, старик с короткой бородкой, в переднике, в расшитой шапочке на голове и с полотенцем в руках, необычно проворно передвигался на своих скрюченных ногах, вытирая даже те столы, за которыми сидели люди.

Из гостиницы вышла черноволосая и черноглазая девушка с перетянутой пышной грудью и с развевающимися на ветру разноцветными лентами вокруг талии, словно невеста перед свадьбой; в руках она держала деревянный поднос с заказами постояльцев.

— Разрази меня гром, герр Мирцель! — воскликнул Швайнсхойт. — Куда исчезли ваши гости, направлявшиеся во Фрейбург?

— Они вовсе не исчезли. Вот они сидят втроем за тем столом в глубине двора, под большим вязом. Их не видно за ветвями.

Несколько гостей повскакали с мест, чтобы получше разглядеть причудливую процессию, следующую за Швайнсхойтом, но Мирцель, размахивая полотенцем, возвратил их к столам:

— По местам, господа! Возвращайтесь на свои места! Это не цирковое представление и не цыгане с обезьяной. Извольте воротиться на свои места!

Швайнсхойт, которого все знали и уважали, добавил:

— У нас есть дело к ученым господам, сидящим под вязом.

Услышав эти слова, все вернулись к оставленной трапезе.

Охотник поманил пальцем юношей с мулом, который бил хвостом по бокам и по свисающим с них мешкам. Эльбрих шел вслед за ними, не спуская с них глаз.

Подойдя к дереву, Швайнсхойт опустил аркебузу, снял шапку с пером, отвесил поклон и сказал:

— Милостивые господа! Я уроженец здешних мест, зовусь Швайнсхойт. Нынче вышел на охоту, и Господь привел мне навстречу мула и двух еврейских шалопаев. Сочту за честь представить их вам. Лишь вы, ученые мужи, можете решить, что мне с ними делать: повесить на дереве или отпустить с миром.

Эразм, закутанный в меховую накидку, спросил по-немецки с заметным голландским акцентом:

— За какие преступления задержали вы их и какой суд уполномочил вас так поступить?

— Разве вы охотитесь на людей, а не на животных? — сурово спросил Пиркхаймер.

— У них книги, милостивые господа, сочинения на древнееврейском, в которых ваш покорный слуга не разберет и буквы. Кто знает, не содержат ли они поношения и хулу на Святую Церковь. Немало говорилось о том, сколько мерзости в их книгах. Я прослышал, что вы люди ученые, знаете латынь и греческий, да и древнееврейский вам внятен. Посему я осмелился привести их к вам, дабы вы и решили, нет ли в их свитках ядовитых грибов. Ваш покорный слуга не судебный исполнитель, а ревностный христианин, преданный провозвестнику истинного христианства преподобному Мартину Лютеру.

Пиркхаймер, до сих пор сидевший, подперев подбородок рукой, вдруг поднял свою крупную голову, гневно взглянул на охотника, поднял

кулак и ударил бы им по столу, но в последний момент удержался и лишь вскричал:

— Ослиная голова! Кто поставил тебя стражем Всевышнему?

— Виллибальд, — с укором произнес Эразм, положив ему на плечо дрожащую руку, — вы ведь осуждаете насилие...

— Простите меня, уважаемый учитель, — ответил тот, — при виде некоторых поступков человеческих порой очень трудно сдержаться.

— И все же мы, возлюбившие мудрость, обязаны придерживаться закона рассудительности.

Обратившись к Швайнсхойту, стоявшему с видом наказанного мальчишки, Эразм указал на стол:

— Присаживайтесь к нам, добрый человек, и закажите себе кружку браги.

Тут же появился Мирцель, вытер полотенцем стол и спросил:

— С селедкой или без?

— Разумеется, с ней, — проворчал Швайнсхойт и сел у края стола, стараясь занимать как можно меньше места.

— Что у вас за книги? — спросил Эразм Энзеля, стоявшего ближе к столу.

Энзель после всего, что было сказано учеными господами, преисполнился уверенности и подробнее рассказал свою длинную историю: книги были переданы на хранение доброму и честному христианину, который хоть и занимался ремеслом бочара, но был начитан и уважал мудрость. Оставил же ему их сосед, глава регеншпургской иешивы, в страшную пору изгнания, тому назад десять лет, ибо опасался, что они затеряются в пути. Прибыв в Страсбург, он передал главе тамошней иешивы подробный их перечень. С тех пор старый раввин регеншпургской иешивы уже скончался, а глава их общины несколько раз пытался послать кого-нибудь за святыми книгами, но то были смутные го-

ды, грабеж и убийство царили на дорогах, и он не хотел рисковать жизнью посланцев. В последнее время стало поспокойнее, и двух учеников иешивы, то есть его друга и его самого, сочли достойными пуститься в это путешествие за свитками. Три недели назад покинули они Страсбург, немало испытаний выпало на их долю в пути, не раз приходилось им прибегать к хитрости и уловкам, чтобы спасти свои жизни и сохранить книги в целости и сохранности. Бочар поначалу подозревал их в обмане и все отрицал: никакого мол раввина и никаких книг знать не знает. Но когда ему показали перечень книг с личной подписью покойного регеншпургского раввина, он поверил, хотя и не мог прочесть по-древнееврейски, и передал им сочинения, которые хранил как зеницу ока. Он же дал им совет спрятать их в бочки с двойным дном и выдавать себя за торговцев дегтем для смазки телег, дабы не заподозрили их ни в чем другом. И они, Энзель со своим другом, смазали дегтем лишь стенку бочки и края, повесили на одну из них ведро и всюду говорили, что уже продали весь свой деготь и теперь идут возобновить запас. Все это они делали по совету бочара, который сам же и смастерил для них подходящие бочки и наотрез отказался взять плату. Вдобавок ко всему он подыскал для них мула, да хранит Господь этого человека! На что они жили в дороге? Их учитель, страсбургский раввин, дал им несколько золотых, которые они зашили в одежды и взяли с собой, чтобы было чем платить за еду и откупаться в случае беды. Немало было несчастий у них в дороге, и бивали их, и грабили, и убить пытались, и даже чахлого мула отобрать, но — хвала Создателю! — ни разу никто не догадался о том, что они везли в бочках, пока не повстречался им этот милостивый господин со своим оруженосцем, который сразу же заглянул в бочки и понял, что они с двойным дном.

Тогда он, Энзель, решил сказать всю правду, понимая, что нет смысла ее таить. И милостивые господа, разбив бочки на мелкие осколки и найдя свитки, завернутые вот в эти мешки, убедились в правдивости его слов.

— Теперь же, — сказал Энзель в заключение, — когда благое Провидение привело нас к вам, ваши милости, соблаговолите же посочувствовать нашим тяготам и объявить свое суждение, дабы смогли мы вернуться в наш город к учителю нашему, главе иешивы, мужу святому и чистому, благополучно оставив ему святыя книги, кунтресы и комментарии, без коих мы подобны мастеру без инструментов, ибо по ним мы учим Закон, заповеданный нам блаженной памяти мудрецами.

Энзель говорил на еврейском варианте немецкого языка, но произносил слова весьма ясно и отчетливо, так что слушатели его хорошо понимали. Никогда еще никто не слушал его так внимательно, как эти иноверцы.

Вспыльчивый господин, проявивший такую нетерпимость к охотнику, весь превратился в слух. Маленький худой человек с пером в руках внимал еврею, приоткрыв рот и обнажив желтые зубы. Даже охотник с кружкой и стоявший возле мула слуга, а также Лемлин, знавший все, о чем шла речь, и гораздо больше того, слушали с пристальным вниманием. Казалось, что во всем обширном дворе не раздавалось ничего, кроме голоса Энзеля.

— Вы упоминали книги, добрый человек, — сказал ему Эразм. — Не могли ли бы вы назвать некоторые из них?

— Названия книг на древнееврейском языке и ваша милость их не поймет. Да и имен авторов вы наверняка никогда не слышали.

— И все же, назовите их. Быть может, мы что-нибудь и поймем, мои друзья и я.

И Энзель начал перечислять, загибая один

палец за другим: книга "Сокрытый свет", книга "Блажен муж" рабби Ашера бен Иехизля*, "Сборник, собранный и составленный учениками рабби Аврахама бен Давида"**, "Сборник", собранный разными учеными, респонсы***, послания и тому подобное.

— Все это раввинские книги?

— Да, ваша милость. Эти книги суть сосуды галахической премудрости, сиречь сочинения, толкующие Закон, установленный блаженной памяти мудрецами Талмуда из Святой Земли и Вавилонии.

— И все они рукописные, или же есть и печатные книги?

— Все рукописные. У нас еще очень мало печатных книг. Они слишком дороги.

— Жаль, жаль! — воскликнул Эразм, полуобернувшись к сидящему рядом Пиркхаймеру. — Наш друг Рейхлин разобрался бы лучше в этих сочинениях. Я изучал в оригинале только Ветхий Завет.

— Рейхлин — человек досточтимый, правдолюбец, — оживился Энзель (Лемлин согласно кивал головой). — Слышали мы о нем и о трудах его праведных. Он опроверг презренного отступника****, да продлит Господь дни жизни праведника!

— Рейхлин скончался 7 лет назад, — сказал Эразм.

* Ашер бен Иехизль (известен также как Ашери или Рош, 1250—1327) — выдающийся раввин и талмудист.

** Аврахам бен Давид (Аврахам бен Давид из Посььера, ок. 1125—1198, известен также под аббревиатурой Рабад) — автор талмудических комментариев, кодификационных сочинений и критических толкований работ различных ученых.

*** Респонсы — законодательные разъяснения и судебные решения, посылавшиеся выдающимися еврейскими законооведами и раввинами в ответ на запросы отдельных лиц и общин.

**** Имеется в виду И.Пфефферкорн.

— Да примет его Господь под свою сень! — тотчас откликнулся Энзель. И Лемлин тихо произнес: "Аминь".

— Ступай к тем столам, Эльбрих, да закажи себе питье, — обратился Швайнсхойт к слуге, с тоскливым видом переминававшемуся с ноги на ногу возле мула. Эльбрих повиновался незамедлительно, оставил мула на попечение Лемлина и поспешил к отдаленным столам.

Юноши не знали, кто эти люди, да их знаменитые имена ничего бы им не сказали. Всю жизнь они изучали Тору Израилеву, знали также мудрецов Талмуда и некоторых еврейских мыслителей Испании и Германии. Вне этого их не интересовало ничто, хотя они, конечно, имели представление о "злокозненных" учениях иноверцев и раздиравших их распрях. Лишь имя Рейхлина было известно в их среде, благодаря его спорам с отступником Пфефферкорном. Знали они и имя Лютера, и хотя за ним ходила слава врага евреев, его не боялись, полагая его кем-то вроде помешанного или близким к помешательству.

Энзель понимал, что им не грозит опасность со стороны высоких ученых особ. Скорее наоборот: возможно, они помогут им добраться без помех до Страсбурга. Теперь, когда бочки разбиты, как донести книги до места назначения? И мозг Энзеля лихорадочно искал повод для того, чтобы попросить помощи у влиятельных собеседников.

Воздух стал свеж и приятен. Непрерывно дул прохладный ветерок, принося с собой ароматы леса. Пробудившись, радостно защебетали птицы. Из листвы большого вяза доносилось одинокое чирканье. Повеселели и люди, только Эразм дрожал и все больше кутался в накидку. Снова появился герр Мирцель и вытер стол, нерешительно поглядывая на еврейских юношей, не зная, следует ли пригласить их к столу отведать еды и питья. Ви-

дя, что господа предоставили им стоять, он почел за благо не вмешиваться.

Тут заговорил Пиркхаймер:

— Простите, меня, юноша, если я задам вам нескромный вопрос. Слова ваши свидетельствуют о том, что Бог одарил вас умом и искренностью. Мне понравилось, что вы не скрыли от нас и те хитрости и ложь, к которым вы прибегали до сих пор. Зато и я буду с вами откровенен. Скажите, доколе будете вы упорствовать, отказываясь вступить в лоно нашей веры, провозвестником которой был ваш собрат иудей со своими апостолами, также иудеями, за исключением одного? Поступив таким образом, вы бы избавились от страданий и поношений, от унижений и гонений, которым вы подвергаетесь в каждом поколении и в каждой стране.

Вопрос не испугал и не смутил Энзеля, словно он был к нему готов.

— На этот вопрос уже ответил божественный философ рабби Иехуда Галеви* в своем сочинении "Кузари", где говорится: "Свет наш меркнет лишь в глазах незорких, впадающих в это заблуждение по причине нашей бедности и рассеянного состояния". Унижение не говорит о низости.

— Я не говорю об унижении и преследовании веры в начале ее существования. Ведь и наша вера прежде была унижена и гонима, многие приняли во имя нее мученическую смерть, и лишь позже, ибо такова была воля Провидения, воссияла она во славе, распространяясь среди многих народов. И в конце концов — мы веруем в это — ее примет все человечество.

— Блажен, кто верует, как счастлива его доля! — ответил Энзель. — Ведь вы говорите о счастье и благе человеческом, ваша милость. Од-

* См. примечание на стр. 69.

нако, что делать нам, исповедующим веру отцов наших так, как мы ее получили, и не способным веровать иначе? Ведь это и есть наша доля и наше блаженство, и мы не примем другую долю и другое блаженство, и не отступимся даже на полслова. Мы все еще верим в слова великого пророка Исайи: "Потому что Земля будет так наполнена ведением Господа, как морское дно покрыто водою".

— Сказано: "Знанием Господа" — молвил искушенный в Писании Лемлин.

Энзель попытался было перевести слова пророка, но Пиркхаймер сделал ему знак, что он понимает, и сказал:

— Этот чудесный стих не противоречит нашим верованиям. Мы верим, так же, как верил Спаситель, что наступит день, когда Земля от края до края наполнится знанием Божественной мудрости. Спаситель отдал жизнь за эту веру. Мы лишь противимся, как и он в те времена, вашему раввинистическому Закону, в котором нашел он изъясны, уча, однако, что Бог един и Закон его един.

— Если в главном нет расхождений, если и вы признаете, что Господь един и Закон его неоспорим, а учение вашего бога лишь толкование, зачем же нам спорить о толкованиях? Пусть каждый толкует, как подсказывает ему сердце, не навязывая другим своих интерпретаций.

Тут в разговор вмешался Эразм, обращаясь к Энзелю:

— Однако, добрый мой друг, вы игнорируете важный принцип: торжество "интерпретации" нашего Спасителя в этом мире соответствует воле Создателя. Оттого он и не дает вам вести полноценное существование, что вы отворачиваетесь от истинного толкования.

— Разве торжество большинства есть признак истины? Неужели вы назовете служением Господу отказ от своих взглядов и своей религии с целью уподобиться большинству?

— Вам не откажешь в находчивости. Вы, должно быть, немало поднаторели в Талмуде. Итак, слушайте внимательно, и я объясню вам суть дела. Вы спросили, есть ли духовная доблесть в поступках человека, уподобляющегося торжествующему большинству. Вопрос хорош. Но знайте же, что различны пути отдельной личности и общества. Век человека ограничен, долог он или короток. Существование же общества или нации простирается за пределы человеческой жизни. И это существование может быть лишь иллюзорным, если оно не обладает полнотой достояния, как то: одежда, инструменты, пища, земля, полиция и армия (хоть я и не люблю ни армии, ни войны). Тогда оно будет бесконечной сменой бессмысленных страданий, унижений и гонений, то есть тем, что я называю иллюзорным существованием, ибо оно лишено признаков, составляющих, по нашему мнению, существование истинное. Именно так существуете вы, евреи, в своем рассеянии...

— Ваша милость, — прервал его Энзель, — имеет в виду выражение Рамбама* "полнота достояния", которое, по его мнению, является самой низменной из всех полнот, дарованных человеку. Истинное же совершенство, как личности, так и общества, есть полнота духовной жизни и постижение Божественного. В ней сподобится человек вечности, и лишь в ней достоин он звания человека.

— Да, — ответил Эразм с некоторым раздражением, — мне известны эти соображения из третьей части книги Маймонида, и я не согласен с ним, ибо он не удостаивает вниманием не только физический мир, который имеет не менее Божественное происхождение, чем духовный, но и человеческую общность, указывая, к чему должна стремиться личность, не заботясь о ближних. Однако, такие требования непосильны для человека.

* См. примечание на стр. 69.

Думается мне, что именно это имеет в виду Экклесиаст в одной из последних глав, говоря: "Небольшая глупость бывает лучше мудрости и чести".

(Эразм процитировал этот стих по-древнееврейски, но с произношением, чуждым для еврейского слуха.)

— Сказано: "Дороже", — заметил Лемлин.

— Благодарю! — продолжал Эразм. — После многих размышлений я пришел к этой же мысли. И добавил с наслаждением: — Как чудесно сказано: "Небольшая глупость бывает дороже мудрости и чести"! Во всей греческой и римской литературе я не встречал ничего более глубокого. Если бы вы следовали этой истине, то, возможно, изменили бы ваш образ жизни и, быть может, достигли величия, ибо первейшее начало, называемое мудростью, в вас очень сильно. Повидал я евреев Голландии, Англии, Италии, Германии, во Франции и в Швейцарии. И повсюду, кроме немногих исключений, лишь подтверждающих правило, евреи гонимы, унижены и смертельно напуганы! Да, именно напуганы! До сих пор помнят, как изгоняли их из Испании 37 лет тому назад. Нет, нет, это не жизнь для нации, нет в мире ничего подобного! Евреи — дух, а не плоть, хотя они и едят, и пьют, и размножаются, как все люди. Они дух, но не *спиритус**, а *лемурис*** — духи, привидения. Призраки, блуждающие в мире. Не похожи даже на цыган, племя нищее и плотью, и духом, общество попрошаек и конокрадов, не имеющее ни имени, ни места. Ни разу мы не видели книг против цыган и их верований, не слышали, чтобы их преследовали. Евреи — другое дело. Они — дух, влачащий бремя великого прошлого, великих идей и великого Учения, дух, странствующий среди

* Спиритус (лат.) — дух.

** Лемурис (лат.) — призраки.

народов, возбуждая ненависть, гнев, желание оскорбить его и избавиться от него. Нет, это не истинное существование, а иллюзорное.

— "Не мощью и не силою, но духом..." — ответил Энзель.

— Сказано: "Но духом моим", — поправил на сей раз Эразм, и Лемлин согласно кивнул головой.

— Мы тоже, — продолжал Эразм, — верим в Святой Дух, Спиритус Санктус; но вы — лемурис, мертвые среди живых.

Лицо его приняло неприветливое, жесткое выражение.

— Мы вовсе не верим в духов мертвых, — пожал плечами Энзель.

Тут вмешался Пиркхаймер:

— Помнится, был я во время вашего праздника Седмиц* у моего еврейского друга во Фьорде и слышал, как его сынишка просил у матери: "Мама, дай мне еще кусок Синая". Я поинтересовался, что это за блюдо, и друг объяснил, что это начиненный пирог, который пекут на праздник Седмиц и называют Синаем, чтобы дети, начинающие изучать Писание в этот праздник, знали, что Закон, данный на горе Синайской, сладок и хорош. Нация, способная делать блюдо из своего Учения, не может быть плотью и кровью. Я согласен с моим другом в том, что ваше существование отлично от существования всех других народов.

Эразм добавил с той же жесткой ноткой в голосе:

— Вы введены в заблуждение некоторыми вашими учителями, утверждающими, что нет жизни вне Божественной мудрости. Как я знаю, многие евреи считают, что остальные народы были созданы ради них. В действительности же, все народы существу-

* Седмицы (Шавуот) — еврейский праздник дарования Торы на горе Синай.

ют, а они — нет. Даже древние народы, казалось бы, вымершие, на самом деле лишь сменили обличье и название. В вас обитает большая духовная сила, но она подобна ветру, не приводящему в движение крылья мельниц. В лучшем случае он помогает двигать жернова чужих мельниц, но ваша стоит в запустении; еще звучит эхо прежней работы, но жернова неподвижны, не производят муки. Как-то в моем отечестве я слышал скрип старой оставленной мельницы со сломанным крылом. Это было в детстве, но звук до сих пор преследует меня...

Пиркхаймер процитировал по-немецки стих из Песни Песней: "Поставили меня стеречь виноградники, свой виноградник я не уберегла".

— Виноградники не нуждаются в их заботе, лучше бы стерегли свои!.. — сказал Эразм, повышая голос.

Последние слова были произнесены тоном, заставившим Энзеля усомниться в добрых намерениях собеседников, в особенности при виде оживления, которое вызывали в Пиркхаймере колкости Эразма. Лицо Лемлина искажилось печалью. Энзель лихорадочно искал убедительный ответ, который заткнул бы уста обвинителям. Много изящных идей приходило ему в голову, но в них не было порядка и ясности, и они путались и мешались друг с другом: высказывания мудрецов Талмуда, изречения Саадии Гаона* и Иехуды Галеви, Ибн Эзры**, Рамбама и других. Не зная, с чего начать, он медлил с ответом. Наконец он произнес:

— Почтенные господа, я выслушал все, что вы оба сказали. Ценя ваше мнение, я все же позволю себе задать вам один вопрос...

* Саадия Гаон (Саадия бен Иосеф, 892—942) — знаменитый еврейский философ.

** Аврахам Ибн Эзра (1089—1164?) — еврейский поэт, философ, комментатор Библии, астроном и врач.

Он не договорил фразы, так как в этот момент послышались конский галоп и стук колес, и во дворе раздались громкие возгласы. Все перекрыл голос Мирцеля, ставший вдруг тонким и пронзительным: "Курт приехал! Вот она, грамота! Сиятельные особы явились встретить наших гостей. Какой почет! Какой почет! Да, они там, под вязом! Пожалуйста, ваша милость, сюда!" От радости он бросил полотенце на ближайшую скамейку и забегал с распростертыми объятиями от ворот к вязу.

Эразм, Пиркхаймер и Бривис встали со своих мест навстречу приехавшим. Поднялся и смущенный Швайнсхойт, водрузил на голову шляпу с пером, сделал нерешительный шаг и остановился.

Трое ученых смешались с группой приезжих, только что вышедших из роскошной кареты. За поклонами последовали рукопожатья и объятия, вопросы, ответы и радостные восклицания.

Покинутые всеми, Энзель и Лемлин отошли с мулом в заднюю часть двора, ища, где бы присесть, ноги их подкашивались после долгой дороги и затянувшегося стояния. Найдя под небольшим деревцем камень, они сели на него. Лемлин не отпускал уздечки мула.

— По выражению его глаз вижу, что он голоден. "Знает праведник душу своей скотины". Как же мы выдержим, глядя на нашего несчастного изголодавшегося мула? — сказал Энзель.

— Подержи уздечку. Пойду попрошу корму для него, — ответил Лемлин.

Энзель взял у него уздечку, и Лемлин направился к заднему входу гостиницы: там располагались хозяйственные службы Мирцеля.

Через несколько минут он вернулся, волоча обеими руками огромную охапку сочной зеленой кормовой травы. Мул сильно подался вперед, вырвал уздечку из рук Энзеля и понесся к Лемлину.

Когда посланец доставил во Фрейбург письмо Эразма, его друзья и поклонники решили отправить делегацию на постоянный двор, где находился великий ученый. Два дня длилось обсуждение устройства почетной встречи. Оттого и задержался внук Мирцеля с грамотой.

Пиркхаймер был горько разочарован: он был уверен, что повезет мэтра в своей карете, но почитатели Эразма приехали за ним в карете, которая была и удобнее, и красивее. Фрейбуржцы предложили знаменитому императорскому советнику присоединиться к ним и тем самым удвоить честь, которой удостоился их город, но Пиркхаймер отказался, сославшись на то, что он уже непозволительно долго задержался с возвращением в Нюрнберг. Он пребывал в подавленном настроении от того, что не добился от Эразма желаемого. Эразм, напротив, был чрезвычайно возбужден. Ему припомнились славные дни, проведенные им в Англии и в Италии. "Мир еще знает мне цену", — подумал он с удовлетворением. Заметив печаль на лице Пиркхаймера, он положил ему руку на плечо и со словами: "Никто не знает своего часа. Сотрите с сердца печаль", — обнял его и расцеловал, как при встрече. "Хорошие книги вы написали", — добавил он рассеянно и оттого не слишком убедительно.

Когда весь багаж был погружен на задник большой кареты (Бривис трудился с большим усердием, помогая Курту и кучеру), и все уже были готовы к отъезду, Эразм остановился, оглядываясь по сторонам, словно чего-то ища. Внезапно он повернулся и зашагал через весь двор туда, где рядом с жующим мулом сидели двое еврейских юношей. Бривис бросился было вслед за ним, но Эразм подал ему знак оставаться на месте.

Увидев старого ученого, юноши поднялись с

камня и стали дожидаться его с почтительным видом. Подойдя, Эразм обратился к Энзелю со следующими словами:

— Считаю нужным сказать вам: не знаю, как и когда это произойдет, но мне совершенно ясно, что, если суждено евреям вновь удостоиться истинного существования, это произойдет лишь тогда, когда они начнут соблюдать заповедь Экклезиаста, придерживаясь "небольшой глупости". Тогда-то они и будут как все народы. Дух их вернется из хаоса и станет вновь духом живым, превосходящим величием все человечество. Не знаю, сколько пройдет столетий до той поры. Но в той же мере, в какой я убежден, что ваше иллюзорное существование может продлиться весьма долго, я верю, что в конечном счете обретете вы и существование истинное. Как прекрасно сказано: "Небольшая глупость бывает дороже мудрости и чести"! Лишь "небольшая глупость", когда вы ее усвоите, приобретет уважение народов к вашей мудрости... Да хранит вас Господь на пути в Страсбург! Прощайте.

Произнеся последние слова по-древнееврейски, Эразм повернулся и направился к карете, возле которой стояли в немом изумлении ожидавшие его люди.

В это время к юношам подошел, приветливо улыбаясь, Швайнсхойт и, протянув Энзелю руку, спросил:

— А где монета, которую ты предложил мне в лесу?

Вопрос привел Энзеля в замешательство, и, все еще думая об Эразме, он ответил почти машинально:

— Монета? Потерялась в лесу.

— Ну вот, еврей, на этот раз ты лжешь. Но я тебе ничего не сделаю дурного. Теперь, когда я знаю, сколь ты учен. Ученые не могут жить без лжи.

Взвалив аркебузу на плечо, он зашагал к своему слуге.

Пиркхаймер вернулся к вязу за своей шляпой и, завидя юношей, подошел и сказал им:

— Я должен попросить прощения за то, что мы не предложили вам сесть. Мы не видели в вас равных себе людей. Пойдите умойте лица, приведите в порядок одежду и поешьте. По всему видно, что вы голодны. Я же тем временем напишу сопроводительное письмо, которое послужит вам в дороге. До тех пор, пока в мире не восторжествует учение о всеобщей справедливости, следует заботиться об отдельных людях. Имени имперского советника Виллибальда Пиркхаймера достаточно, чтобы хранить вас в пути. Что же до господина, только что отъехавшего отсюда, вам бы следовало внимательно обдумать его слова, ибо это самый великий ученый нашего времени. Я буду писать письмо здесь, под деревом, и когда вы воротитесь, умытые и чистые, вручу его вам.

С этими словами он направился к вязу.

Энзель обратился к своему товарищу хитрый и насмешливый взгляд.

— Разве не говорил я тебе, Лемлин, что здесь нам не причинят зла. Что касается этого праведного господина, "нам бы следовало внимательно обдумать его слова" о том, что надо умыться. Бочек больше нет, остались лишь свитки да мешки. Зачем же нам ходить перепачканными в дегте? Давай попросим трактирщика дать нам ведро воды. А если к нему найдется и кусок мыла, отмоемся как младенцы.

— Ты прав, Энзель. Если не разозлишься на меня, скажу, что у меня на сердце.

— Что ж, расскажи, если что-нибудь путное.

— Подсказывает мне сердце, что мудрый иноверец говорил не пустые слова. Может быть, именно это подразумевает Кохелет* под глупостью.

* Кохелет ("проповедующий в собрании") — название библейской книги, авторство которой приписывается царю Соломону. В христианских переводах известна под названием Экклесиаст.

расхваливая ее. "Держись за это, но и того не гнушайся". Кто знает?

— Эх, Лемлин, Лемлин. Не зря тебя манит глупость — видно, ты с ней в сродстве. Давай умоемся и, как говорит Писание, "будете чисты".

— "И Земля покорена будет пред Господом, а затем возвратитесь и будете чисты пред Богом и пред Израилем, и достанется вам эта Земля во владение пред Господом".

— Что ты там бормочешь, любезный мой книжник?

— Ничего. Один стих из книги "Чисел", — отвечал Лемлин, уставив невидящий взгляд в сторону леса, словно пребывая в далеком сне.



Украинская народная картина. 18 в. (Среди развлечений гайдамаков — подвешивание еврея за ноги).

...И НЕБО ТОМУ СВИДЕТЕЛЬ

I

Когда батько Гонта* летом 1768 года во главе своих казаков приближался к Тетиеву, местечко выглядело необычно. Маленькие и большие дома застыли в безмолвии, ставни были закрыты, из труб не взвивался дым в чистое утреннее небо. Только из одного кособокого дома с покатою крышей неслись хриплые голоса пьяных. Сюда тянулись, грузно шагая, крестьяне из деревушек, расположенных у обоих концов местечка. Они шли разодетые по-праздничному, в свитках, в мазанных дегтем чоботах, к этому единственному живому дому. Блеск шинка привлекал их, словно бабочек огонь.

Возвышающийся над круглой пустынной площадью деревянный крест с маленькой фигурой Иисуса Христа, выставившего свою жалкую наготу, будто дремал под знойными лучами украинского солнца.

Здесь, на главной городской площади, окаймленной десятком еврейских лавочек, веками стояли друг против друга, точно оспаривая превосходство, два молитвенных дома: высокая синагога из камня, уже выщербленного неуловимым временем, и древний костел с почерневшими от ста-

* Иван Гонта (ум. 1768) — один из предводителей гайдамацкого восстания на Правобережной Украине в 1768 г. Войско Гонты занималось разбоем и грабежом, главными жертвами повстанцев были жители еврейских местечек, лишенные какой-либо защиты. Беспрецедентной по масштабам была всеобщая резня, учиненная гайдамаками в Умани, в результате которой погибло около 20 тыс. евреев.

рости стенами, над которыми возвышались легкие башенки, устремленные ввысь.

Три дня назад до Тетиева докатилась скорбная весть. Батько Гонта, объединившись с гайдамацким атаманом Железняком*, движется на укрепившееся в Умани польское войско, сея на своем пути смерть и ужас, истребляя без пощады людей и грабя имущество. У всех жителей местечка опустились руки. Сопротивление было бесполезно. Осталось лишь одно: бегство. Вся еврейская община поднялась, захватив самое ценное, и направилась в ближайший город, расположенный в трех днях ходьбы.

Крестьяне отказались дать подводы. Они стояли у своих ворот и, засунув руки в карманы, с показным равнодушием глядели вслед убегающим. Часть польского населения присоединилась к евреям. Им угрожала та же судьба — полное уничтожение.

Не успели евреи покинуть Тетиев, как начались совещания нееврейского населения, живущего на окраинах: грабить еврейские дома прямо сейчас или подождать прихода батьки. Знающие люди помнили, что батько не любит, когда подобное происходит в его отсутствие. Поэтому было постановлено на собрании "Громады" (совета общины) ждать. Произошла заминка в отношении трактира — как это оставить его закрытым, когда бочки в нем доверху полны вином? Нашлись разумники, высказавшие такое предложение: когда евреи удалятся от местечка, десятерым хлопцам из числа смельчаков с мотыгами засесть в засаде. Выпрыгнув оттуда, они схватят "Хомку"-трактирщика и вернут его в местечко. Он снова бу-

* Максим Железняк (укр. Зализняк) — род. в начале 40-х гг. XVIII в., год смерти не установлен; запорожский казак, один из предводителей крестьянской войны 1768 г. на Правобережной Украине против польской шляхты.

дет их поить, но это будет вроде добровольно, хотя и по принуждению.

Так и поступили. Вначале, когда втолкнули трактирщика Нехемью в его дом, он был словно оглушен. От сознания своей оторванности от семьи и своей общины он не находил себе места в собственном доме. Страх же перед иноверцами лишил его покоя. Его борода и пейсы поседели, свалялись, в глазах притаился испуг, как у ведомого на закланье животного. Через день он понял, что ему остается только безропотно подавать горилку своим мучителям и отвечать на их шутки. Он даже стал записывать стоимость выпитого каждым в смутной надежде: "Сплать свой хлеб по воде..."* — даже на пороге ада не теряй надежды...

В этом местечке жил старый почтенный еврей по имени Исроэл-Михл, молчаливый силач, двадцать лет работавший *шамесом* — синагогальным служкой, получивший эту должность в наследство от своих предков. Никто не мог вспомнить, чтобы шамес кому-либо отказал в услуге, будь то весьма почитаемый или самый незначительный человек в общине. Он никому не отказывал в помощи и безотказно обслуживал всех. Когда община собралась в синагоге и решила бежать из местечка, Исроэл-Михл тихонько ушел с собрания и спрятался на чердаке, в том месте, где в большой бочке хранятся оторвавшиеся от молитвенников и других священных книг ветхие листы. Никто не заметил его отсутствия. Когда вся община покинула местечко и установилась тишина, он незаметно вышел из своего укрытия, прошелся по двору и стал собирать в одну кучу необтесанные разбросанные камни, предназначенные для ремонта синагоги. Дрожащими руками втаскивал он тяжелые плиты в переднюю синагоги. Исроэл-Михл решил про себя: если иноверцы ринутся поганить Божий

* Экклесиаст, 11:1.

дом, рвать и топтать фолианты Талмуда (свитки Торы взяли с собой покинувшие местечко евреи, но толстые книги они не смогли унести), начнут разбрасывать отдельные, вышедшие по ветхости из употребления листы с упоминанием имени Бога, — то он не даст им проникнуть в священный дом, он станет защищать его с помощью этих камней.

Он запер ключом тяжелую дверь, придвинул к ней стол и поставил на него стул. Так он добрался до верхней фрамуги окна, вышиб "щит Давида" — декоративную решетку, расписанную разными цветами, — чтоб удобней было целиться в нападающих. Закончив приготовления, он проверил, хорошо ли закрыта дверь, и улегся на холодный пол у стола. Так он пролежал там два дня без пищи и воды в ожидании врагов. Он не вспоминал ни жену, ни детей, ушедших вместе со всеми. Всю общину он будто вычеркнул из сердца. Только святость синагоги заполняла его душу. Предчувствие грядущей битвы за святое место придавало ему решимость и силу Самсона, поразившего филистимлян.

Итак, в местечке Тетиеве осталось лишь два одиноких еврея: шинкарь, которого заставили подавать вино, и залегший, как лев, у дверей синагоги, шамес.

II

Батько Гонта ехал верхом на низкорослой лошадке с широким крупом и маленькой головой. Это был настоящий казацкий конь, упитанный, с потертой в тяжелых походах шерстью. Папах атамана была лихо сдвинута набок, а длинная сабля почти касалась земли. Маленькие, злые глазки словно утонули в жирных складках крупного лица. Бурые усы свисали по обе стороны большого рта.

За ним шествовали музыканты, дальше — всадники с кривыми мечами, потом вооруженные кто во что горазд повстанцы из сел и хуторов. В самом конце плелся длинный обоз — телеги с провиантом, воинским снаряжением и награбленным добром. Ординарцы носились вдоль всего войска, а по-праздничному одетые селяне, мужики да бабы, оглушали Гонту приветствиями, махали флагами, кидали под ноги цветы. Вся округа гремела. А небо, как в канун появления Моисея со Скрижалями Завета, было ясное, спокойное, голубое. До праздника Шавуот оставалась неделя.

Лагерь расположился на круглой площади в центре города, вокруг креста с распятым Иисусом. Толпа уплотнилась и прижалась к домам с закрытыми ставнями. Сидя на коне, батько Гонта произнес короткую речь, разжигая толпу призывами и бросая вверх папаху. Адьютанты раскинули ему шатер в тени, расстелили у входа красный ковер. Батько принялся за свои дела.

Прежде всего он приказал явиться к нему "Громаде". Перед ним выстроились полукругом двенадцать почтенных крестьян со сложенными шапками в руках и двойным земным поклоном отдали ему честь.

— Пусть предстанут предо мной жида и ляхи! — крикнул им батько Гонта.

— Убежали, батько, убежали, — извиняющимся голосом сказал старшина "Громады".

— И ни один не остался?

— Из ляхов — ни один.

— А из жидов?

— Ни одного, батько. Мы только задержали "Хомку"-трактирщика, чтобы поил вином и пивом. Прикажи, батько, оставить его живого для блага "Громады".

— Добро, нехай живет покуда. А теперь пусть двое принесут мне доброй горилки. А вы — идите, накормите и вооружите народ, завтра на рассвете двинемся на Умань.

После ухода "Громады" подошли два казачьих сотника в польских конфедератках, смирно стали перед Гонтой и почтительно спросили:

— Ваше великолепие, куда прикажете поставить лошадей?

--- Половину в костел, половину в жидовскую синагогу.

Сотники пошли выполнять распоряжение, а Гонта стал пить из двух пузатых бутылей, доставленных из трактира. С того дня, как батько, присоединившись к собратьям-гайдамакам, изменил полякам и командиру Младоновичу, он стал выпивать вдвое больше обычного.

В синагогу отправили больше ста лошадей. Казаки вели их под уздцы медленным шагом. Мохнатых коней выкупали в реке, с них еще стекала вода. Седла и снаряжение висели на них в беспорядке; кони махали длинными хвостами, доставая чуть ли не своих ушей. Казаки несли в руках полные ведра, кое-кто тащил на плечах мешки с фуражом; все они выглядели мирными, простодушными, как те парубки, что работают у богатых крестьян или в богатых польских фольварках. Ничто не предвещало дурного.

Еще издали они увидели, что ворота синагоги закрыты.

— Зачинили, собаки! — крикнул один и досадливо покачал головой.

— Жаль, что убежали. Мы бы раскрыли ворота их пархатыми головами, — посмеялся другой.

— Надо притащить пушку.

— Тарас толкнет задом и "пустит воздух" — враз откроются.

— Хо-хо-хо, от "воздуха" Тараса рухнет любая крепость.

Так они шутили, пока не подошли к воротам Божьего дома.

Шамес Исроэл-Михл, услышав шум приближающейся толпы, вздрогнул от возбуждения, в ру-

ках у него оказался железный прут, в сердце загорелось пламя. Он вскочил с пола, нагнулся, глянул в замочную скважину, поднял руки к священному Ковчегу, в котором хранятся свитки Торы, и возблагодарил Бога, приведшего иноверцев в его владения для отмщения. Схватив большой камень, он с живостью отрока вскочил на стол, со стола на стул и метнул камень через окно в казаков, обступивших ворота. Камень оторвал одному ухо и погнул дуло его ружья. Крики раненого вызвали замешательство. А тяжелые камни летели один за другим, с одинаковыми промежутками, попадали в лошадей, в людей, не успевших разобраться, откуда такая напасть. На земле уже валялись раненые и убитые. Лошади, задрав морды, с громким ржанием теснились задами и разворачивались на ходу, как это им свойственно.

— Боже! Их Бог воюет с нами!

— Святой Иисусе! Смотрите, какие камни небесные!

— Клянусь нашим батькой, человеку не поднять такие камни!

— То ведьмы, так их мать!

— Нужно притащить сюда пушки!

— Надо призвать батьку, пусть распорядится...

А камни тем временем все летели с теми же промежутками, но падали уже на свободную от казаков землю, а иногда на зазевавшегося раненого казака.

Прибыл сам Гонта, качаясь и переваливаясь маленьким телом в такт бродящему в нем вину. Оглядев позицию, он приказал стрелять из ружей по воротам. Стреляли долго, пока не изрешетили ворота, но град камней не прекращался.

— Сколько чертей засело там? — прохрипел Гонта в сердцах. — Ребята! Разложите костер вокруг этой конюшни и подожгите ее!

После одного случайного выстрела в сторону

синагоги камни внезапно перестали падать.

Наступившая тишина длилась несколько минут. Потом казакам было приказано ломать ворота топорами. Как велико было удивление всех, когда в передней синагоги нашли только одного еврея с растрепанными волосами, на полу, около кучи камней! Руками он водил по раненой ноге, закусив губы от боли. По лицу его струился пот, глаза горели как у одержимого. Казаки перешагнули через него и с саблями бросились в синагогу, но никого не нашли, никого там не было. Раскрытый Ковчег, амвон без занавеси, висячие подсвечники — все мертво, неподвижно. Они вернулись, выволокли раненого Исроэл-Михла во двор и бросили к ногам атамана.

— Вот, батько, сатана, вот убийца наших братьев! Смотри, только его нашли.

Батько Гонта взгляделся в синагогального служку, злобно пнул его ногой, опрокинул, плюнул, приказал оттащить его в сторону и ввести лошадей в "конюшню". Когда испуганных лошадей загнали в синагогу, батько стал судить Исроэл-Михла, убившего трех казаков и одну лошадь и ранившего четырех человек и пять лошадей. По бокам батьки стояли ближайшие его соратники, а вокруг — собравшаяся толпа. Он приподнял свои густые брови, разлохмаченные усы повисли, под тяжестью казацкой папахи голова его несколько наклонилась набок. Поиграв рукояткой длинной кривой сабли, отрывнув несколько раз, он объявил приговор: раздеть жида догола и положить связанного головой к воротам, четверем часовым стать — двоим в ногах, двоим в головах, а Ивану Зурбило (солдат-великан протиснулся из толпы и вытянулся перед атаманом) забить жида плетью до смерти.

— Будешь бить его медленно, слышишь, сукин сын? Медленно-медленно, удар за ударом. Так, не бей сильно. Вот так. Не переставать, слы-

шишь, ни на минуту не прекращать бить, пока из него не уйдет его черная собачья душа. Медленно-медленно, осторожно, милосердно, с толком и до тех пор, пока в нем будет держаться его чертова душа. Ха-ха-ха-ха!

Казаки чуть не рехнулись от восторга, слушая остроумный приговор батьки.

— Медленно-медленно! — улыбка расплылась по его лицу. — А теперь, дети, пошли танцевать в трактир. Дочки Бросошки, наверное, там пляшут на раскаленных плитах, натопленных проклятыми ляхами. Их курвячих матерей! Пошли.

В глазах Гонты блеснула слеза, и народ расчувствовался.

— И их курвячих детей! Ничего, батько, мы их всех вырежем, до единого вырежем этих проклятых, до единого! — заорал народ и густым потоком направился в трактир.

III

Во дворе синагоги осталось только четверо часовых для надзора да палач Иван Зурбило. Убитых и раненых убрали на круглую площадь. Не ушло несколько любопытных, ленившихся пойти в трактир. Посреди двора лежал на земле — головой к порогу Божьего дома, ногами к костелу — служка Исроэл-Михл, раздетый, с непокрытым срамным местом, связанный по рукам и ногам, с кровотокающей раной на ноге.

Великан Иван Зурбило взялся за дело. Он взял плетку, провел по ней рукой, развел ее четыре ремня. Повернул плетку туда-сюда, погладил раз другой. Глаза его увлажнились, но возбуждение тут же высушило их. Часовые, наблюдавшие за экзекуцией, потянули себя за усы и приковались взглядом к жертве, распластанной перед ними на земле.

Тут Зурбило начал хлестать с большим старанием.

Все четыре ремня плетки охватывали изможденное тело старика. Они, словно в порыве страсти, прилипали к его телу. Тихо, без свиста, но со сдержанной силой, как бы целуя, ремни ложились на грудь, обвивая ребра. Когда плеть подымалась, оставались четыре кроваво-красных полосы. От первого удара тело старика вздрогнуло, скорчилось, лицо искривилось и раздался было вопль, но несчастный тут же перестал шевелиться, закусил губы и замолк.

Великан стегал старика самозабвенно, медленно, осторожно, дважды он не ударял по одному и тому же месту. Ему доставляло удовольствие, что полосы на теле множатся, соединяются в один сплошной покров от груди к бедрам. Он не стал его бить по половому органу: Иван помнил, что в детстве отец стукнул его по этому месту, гоняясь за ним с кнутом, и до сих пор все еще досаждала ему тупая ноющая боль. Нет, он не тронет у старика это место. Но ему нравилось стегать ноги, бить ремнями, начиная от паха и дальше вниз. Ремни нагайки, как обручи, обвивали ноги. Нагайка Ивана начинала стегать от пальцев ног, поднимаясь к груди, оттуда выше и выше — к шее. По лицу Иван не бил; опять опускался вниз, повторяя все сначала.

Надсмотрщики-часовые и любопытные зеваки уже устали стоять. Они опустили на землю и смотрели на происходящее с большим напряжением. Лицо мученика искривилось. Он чувствовал боль во всем теле, боль как от тупого ножа. Связанные руки и ноги окаменели. Полностью омертвела простреленная нога. Вытекавшая из раны кровь образовала лужицу, застыла и блестела на солнце-пеке, а сверху лужицу вновь покрывала свежая кровь.

Из трактира в центре местечка доносились звуки барабана и выкрики пьяных. Мозг Исроэл-Михла горел от боли. Несчастного окружили при-

зраки. Он увидел своих братьев, еврейскую общину местечка Тетиева, гонимых, истребляемых на улицах. Гайдамаки носились за ними с саблями, свистели над ними нагайками, топтали их лошадьми, протыкали пиками детские тела и поднимали их вверх. Жена его лежит на пороге их домика с раскроенной головой — она загородила вход рвущимся в дом казакам, а сыновья и дочери его лежат, зарезанные, на полу. Но все эти видения не угнетали его. Наоборот, он чувствовал что-то приятное в кровавом видении. Удары падали на него размеренно, будто по навеки заведенному порядку. В нем трепетал неясный страх, как бы не прекратились его истязания.

Солнце стояло в зените. С высоких деревьев у синагоги откликались птицы на крики, несущиеся из трактира. Из какого-то пустынного двора с настойчивой наглостью орал петух. А великан Зурбило стоял как вкопанный на своих ногах-столбах, чуть нагнувшись, и хлестал. Лицо его покраснелось. Он бросил свою папаху одному из часовых. По тупому лицу текли без конца струйки пота на его напряженную шею. Надсмотрщики сидели на земле, скрестив под собой ноги, и ждали возвращения двух парнишек, посланных в трактир за горилкой. Наконец те вернулись и принесли бутыль. Надсмотрщики стали глотать из нее, передавая друг другу посуду. Они предложили выпить Зурбило, но тот покачал головой. Ему нельзя было останавливаться, так приказал батя. Он продолжал хлестать.

В душевном состоянии Исроэл-Михла произошла благая перемена. Сладкая усталость окутала его. Сердце сжалось, нервы напряглись до предела. Его ставшее красно-синим тело распухло, но боли он уже не ощущал. Ему стало хорошо. Все кровавые призраки гайдамацких расправ исчезли и больше не виделись ему из-под закрытых ресниц. Они сменились красивыми видениями и приятными

снами: праздники и веселье в синагоге, свадьбы и обряды обрезания. Он слышал пение хора и кантора, веселый мотив, наполняющий его светом. Вот он накрывает мальчиков большим талесом во время обряда "Хатан берейшит". Вот он идет по предрассветной росе, в приятной прохладе, будить людей к утренней молитве Богу. Все ясно, светло, лучезарно.

Глаза старика закрылись, а Зурбило хлещет и хлещет его.

Из трактира пришли, шатаясь, одинокие пьянчуги, подошли, посмотрели, плюнули на лежащее тело и ушли. Зурбило же, не переставая, продолжал свое дело.

Исроэл-Михл погрузился в годы далекого детства, в мир блаженства. Деревья распустились, и херувимы-люди расхаживают вокруг. Сердце усиленно бьется и душа улыбается, Зурбило же качается, как в молитве.

Солнце уже ушло с зенита. Стены синагоги бросают живительную тень, накрывающую голову мученика, а солнце плывет дальше, наискось, к стоящему вдали костелу. Голоса из трактира усиливаются, становятся угрожающими. Слышится треск ломаемых дверей и окон. Еврейские домики распаиваются для безудержного грабежа. Батько уже разрешил это. Телеги скрипят, лошади ржут. Грузят награбленное и увозят в села. Там и сям вьется ввысь пламя пожаров, а Зурбило все продолжает свое дело с полным усердием. Ноги его подгибаются от долгого стояния, его мучают голод и жажда, но останавливаться нельзя. Пока грудь распластанного на земле дышит, нужно хлестать. Часовые уже дважды и трижды ощупали истерзанное, разорванное тело: в нем еще билась частичка жизни. И Зурбило усердно хлещет, хлещет...

Но вот Исроэл-Михл открыл глаза. Взгляд светлый и спокойный. Свеча души горит в них! Он видит этого здоровенного, нагнувшегося над ним гоя.

Нагаечные ремни усердно ложатся на тело, а мученик даже бровью не поводит. Он видит обоих надсмотрщиков у своей головы, веснушчатых и любопытных; видит двор синагоги, деревянную ограду и ветки деревьев у костела — все это чисто, открыто и понятно. На его тонких, бледных, посиневших губах появляется что-то вроде улыбки, но вот и ее уже не видно, голова шамеса провалилась в шею, будто срезанная.

Но над ним продолжает покачиваться Зурбило. Его неистощимая сила ослабевает. Он уже десятки раз перекладывал нагайку из одной руки в другую, чувствует, что руки немеют, двигаются только по инерции. Он уже боится прекратить казнь. Не батки он боится. О нем он совсем забыл, но страшится прервать работу, зная, что не сможет больше никогда двинуть рукой. Он уже израсходовал весь свой жизненный запас, всю душу свою он вложил в это стегание. Взгляд его целиком сосредоточен на лице мученика. Иван не может оторвать своих глаз от распластанного перед ним на земле человека. Взгляд старика проникает в его душу, в его сердце, и что-то в нем теплеет. Душевность и чистота, льющиеся из глаз старика, заслоняют в нем все: вчерашнюю резню, завтрашние битвы, гнев атамана, предстоящий поход на Умань — все-все. Он только общается с душой мученика. Он бьет его нагайкой, а сердце его благословляет лежащего перед ним еврея и молится о нем. Надсмотрщики уже развязали старику руки, но он не пошевелился, лежит на боку тихо, лицо восковое, но глаза живы и смотрят из орбит в душу Зурбило, стоящего в его ногах и продолжающего бить его мертвыми, немеющими руками.

Исроэл-Михлу мерещится, будто его уносят Господни ангелы к вратам рая, в небеса, где сияет вечный свет, где царят извечный покой и блаженство.

Его качает словно на волнах. И хотя глаза его уже закрыты, он видит внутренним взором своего палача, из последних сил взмахивающего четырехременной нагайкой. И у него возникает странное желание утешить злодея, хочется сказать ему напоследок добрые слова.

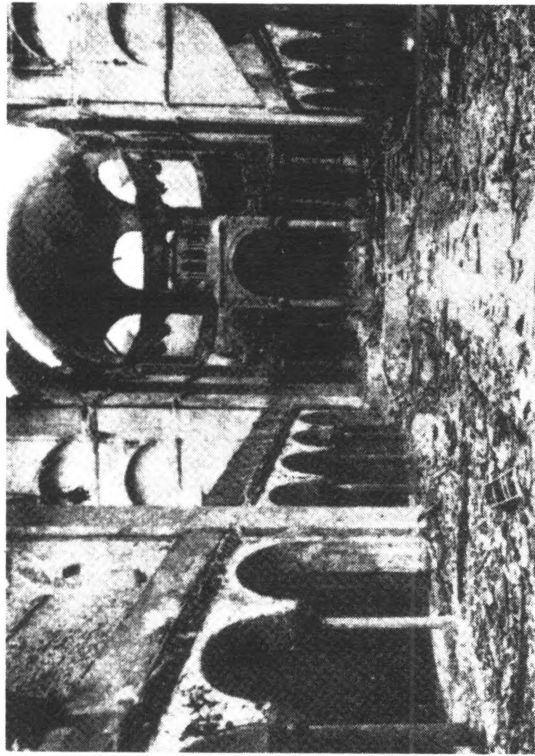
Тень вплотную накрывает израненное, изорванное тело мученика. Старик, раскрыв судорожным усилием очи, как бы повелевает палачу: наклонись ближе.

У того совсем посерело лицо, оно стало землистым, пот с него течет ручьями за расстегнутый ворот рубахи. Он подчиняется властному зову своей жертвы, наклоняется к нему, напрягает слух, ловит предсмертный шепот Исроэл-Михла:

— Ты устал, сынок... Отдохни трошки. Отдохни хоть один миг.

Рев рвется из груди верзилы-палача. Плеть вываливается из его окоченевших рук. Он, словно повергнутый неизъяснимой силой, падает к ногам старика-мученика, обливаясь покаянными слезами.

В замешательстве поднялись со своих мест часовые и зеваки. А на губах умирающего уже застыла последняя улыбка сострадания и прощения.



Синагога на улице Фазаненштрассе в Берлине, разгромленная во время "Хрустальной ночи" (9 ноября 1938 г.).

В МАРБУРГЕ

Профессору теологии Иоханнесу Фромме, невысокому круглому человеку, в чьих светлых жидких волосах седина была незаметна, было уже под семьдесят. Маленькие пороссячьи глазки сидели глубоко под выдающимся лбом с густыми бровями. Жесткость характера несколько смягчал возраст.

В первое время после прихода к власти того человека профессор Фромме остерегался высказывать свое мнение о новом учении, явившемся его народу в грохоте грома и сверкании молний. Ученого беспокоили "еврейские" места в его сочинениях, но благодаря нацистскому толкованию, которое сделали друзья и ученики (некоторые из которых сами сделались профессорами), положение его не пошатнулось. Через несколько лет он уже и сам верил, что написанные им книги по теологии, определяющие мистический опыт в его тончайших нюансах, проповедуют силу, натиск и господство избранной расы, дотоле обделенной и униженной жесткой агрессивностью тех, кто реальной силой не обладает.

Еще до начала войны из Марбурга были изгнаны все евреи, за исключением одной старухи, нашедшей приют у своей подруги, генеральской вдовы, не позволявшей ей выходить из дому; двух сирот, усыновленных в двух очень порядочных домах; и Соломона Рабинова, талантливое ученого восточно-европейского происхождения, некогда ученика Германа Козна, а после смерти великого философа — в течение многих лет научного консультанта Фромме как по иудаике, так и по другим вопросам. Он был остроумен, а его феноменальная эрудиция признавалась всеми. До новой власти

друзья, за исключением тактичного Фромме, не раз предлагали ему креститься, что позволило бы ему получить кафедру.

На это Рабинов обычно отвечал:

— Детей у меня, благодарение Всевышнему, нет. Научная работа дает мне кусок хлеба. Богатство и почет не имеют ценности в моих глазах, — так что же даст мне крещение? Мне уже пятьдесят. Жена на год младше меня. Пусть нам дадут лишь спокойно дожить остаток дней.

По ходатайству сената (некоторые были против, но из уважения к Фромме отступили) Рабинову разрешили жить на окраине в уединенном двухкомнатном доме, расположенном в заброшенном саду и скрытом от людских глаз высоким забором. Его даже не лишили мизерного жалованья, которого его жене хватало на покупку лишь части продуктов, полагавшихся им согласно карточной системе.

Фромме не допускал мысли о какой-либо возможности продолжения работы над своими высоконаучными книгами, изобилующими цитатами, без помощи Рабинова. Не раз он делился этим своим мнением с женой, и та, исполненная благодарности к ассистенту своего восхитительного мужа, время от времени посылала служанку к жене Рабинова с "чем-нибудь", что оставалось на кухне. Профессор хвалил ее за это.

Но вот, после угроз, провокаций и пограничных столкновений, грянула война. Душа профессора затрепетала. Ему было ясно, что зло, словно выпущенный из клетки зверь, ворвалось в мир. Мобилизация его внуков, — одного в Берлине, другого в Гамбурге, — усилила его страхи. Но чудесные победы на востоке и западе и удачное устройство внуков вдали от фронта (через связи в верхушке партии) убедили его в том, что "и увидел Господь, что это хорошо", как сказано в Писании. Добро нисходит в мир посредством ужасов, рационально не объяснимых.

В нем проснулось желание выпустить новое, расширенное и исправленное, издание своей, написанной рафинированным слогом и с тончайшим вкусом, книги "Путь веры", отрицающей то христианство, которое было порождением иудаизма, и выводящей его из незамутненных древних аспектов, возрожденных новым временем.

Местное гестапо не могло успокоиться. Вновь вышел приказ об изгнании старухи, живущей у вдовы, и на этот раз энергичное сопротивление старой генеральши ей не помогло. Среди бела дня изможденную женщину выволокли на улицу, подняли и кинули в кузов машины. С тех пор о ней не было ни слуху ни духу. Двоих сирот крестили их попечители, и они остались на месте, несмотря на гестапо.

Рабинова не трогали, хотя Фриц, племянник профессорской жены, работающий в гестапо, намекал своей тетке, что еврея не будут выносить в городе слишком долго, его место с остальными евреями — в концентрационном лагере. Фриц не утаил от профессора, какой их ждет там. Конечно, но профессор твердо потребовал прекратить разговор на эту тему.

И вот был дан приказ о депортации.

Он был дан в тот самый день, когда Рабинов наконец оправился от тяжелого гриппа. Профессор Фромме не видел его уже десять дней и, соскучившись, хотел даже отправиться навестить больного. Но жена пригрозила, что запрет дверь на ключ: в его возрасте ему только инфлюэнцы не хватало!

В последние недели третьего года войны на Фромме снизошло вдохновение свыше: каждая победа на полях войны, каждый захваченный город окрыляли его и приводили в состояние обостренного восприятия, какого он не знал даже в дни юности. Он писал без передышки часы напролет.

В то утро он сидел за столом и писал на белых

листах бумаги своим размашистым, грубоватым почерком, противоречащим утонченности темы:

”Даже страсти разнятся степенью напряжения, распределяясь в согласии с разницей в типологии, ибо это суть разные по типу состояния духа. Душа может желать и наслаждаться, ликовать и восхищаться красотой, воспарять нравственно и испытывать счастье религиозного переживания, называемого в нашем благословенном языке ”андахт”. Совершенно неважно, что является предметом ”андахта”, — страх превращается здесь в высшую доблесть”.

И после короткой передышки, необходимой для сосредоточения:

”В определенном смысле мы способны воспринять данный феномен гораздо глубже, чем наши предки. Ибо его восприятие обусловлено одним важным обстоятельством: расстояние во времени дает нам преимущество более острого исторического взгляда на чудесный (подумав, он зачеркнул это прилагательное), духовный, религиозный и пророческий опыт древнего Израиля до рождения Христа в сопоставлении с жизнью и деятельностью самого Христа”.

Он ощутил сладостный зуд в кончиках пальцев, мозг его ликовал. Вдруг, вопреки своим обычаям, без стука вошла его жена.

— Ганс, там уводят Рабиновых! Трое вооруженных гестаповцев, один из которых наш Фриц, ведут их к железнодорожной станции. Что же теперь будет? Что же будет?

Она в отчаянии протянула к нему руки.

— Успокойся, Ингрид. Ничего не будет. Такова воля Всевышнего... Да, воля Всевышнего. Теперь я способен писать и без помощи Рабинова. Клянусь, на меня снизошел дух небес. Никогда еще я не был так озарен этим духом.

— Но мы должны попытаться спасти их...

— Хорошо, хорошо, давай выйдем. Попытаюсь по-

говорить с мальчиками. Если и не поможет, то и не повредит.

Выйдя из деревянного флигеля, утопающего в зелени и цветах, они увидели трех гестаповцев и чету Рабиновых, стоящих перед калиткой. Несчастные просили своих гонителей дать им попрощаться со старыми добрыми друзьями — профессором и его женой. Те совещались, не зная, как поступить. Прохожие косились на них, но не останавливались. На улице не было видно детей, так как в эти часы все были на занятиях. Рабиновы ждали решения. Но вот, не иначе как вмешался перст Божий: старики сами вышли к ним...

— Не будь многословной, Ингрид, — шепнул профессор взволнованной жене. Она поняла и, полная жалости, благочестиво сжала губы.

Хотя стояло жаркое летнее утро, Рабиновы, сутулясь, прижимались друг к другу, словно в промозглый дождливый осенний день. У обоих в посиневших руках было по маленькому узелку. В длинных темных одеждах они очень походили на раввина с женой, изгоняемых из родного дома. В глазах женщины стоял испуг. Бледное, осунувшееся от болезни лицо Рабинова, человека науки, стойка, было очень спокойно, но это было особое, смертельное спокойствие. И улыбка на ссохшихся губах напоминала улыбку покойника.

Фромме, одетый в широкий домашний халат с кисточками, спустился по деревянным ступенькам крыльца и подошел к запертой калитке. Жена подошла к нему и встала по его правую руку. Они напоминали влюбленных.

— Да, — произнес он, — вот она, плата за науку.

Озабоченно сморщив лоб, он взял друга за руку и сказал сдержанным голосом, стараясь придать ему как можно больше горести:

— В греховных деяниях человека проявляется божественная воля. Кому, как не нам двоим, знать это....

Рабинов вздрогнул, но тут же выпрямился и сказал:

— Глубокую мысль Вы выразили, господин профессор. Весьма глубокую. Ее следовало бы включить в новое издание Вашего труда.

На этом разговор оборвался. Гестаповцы дали знак, что пора заканчивать, так как около них стали останавливаться любопытные, чтобы поглядеть на необычную сцену.

Жена Рабинова, будучи не в силах произнести ни слова, с глазами, полными слез, пожалала руки обоим друзьям. Глаза профессорши тоже увлажнились.

Когда гестаповцы со своей добычей стали удаляться, один из них ударился ногой о камень и, упав, не смог сразу встать. Его товарищи помогли ему подняться. Он стоял, согнувшись, потирая колено.

Профессорша, все время молчавшая, схватилась за голову и бросилась было к ним бежать:

— Это же Фриц, мой племянник. Кто знает, что стряслось с **ребенком!**

— Ничего с ним не стряслось, глупенькая, — успокоил ее профессор. — Видишь, они уже идут дальше. Пойдем в дом. Мне пора возвращаться к работе. Никогда прежде я не работал с таким самозабвением, как нынче утром...

У ступенек крыльца профессор вдруг остановился и обратился к жене:

— Ты слышала, что сказал Рабинов? Уж не издевался ли он надо мной?

Возмущенная жена отчитала его:

— Что ты, Ганс! В такую минуту **еврей** не станет шутить!

КНИГИ СЕРИИ "БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ"

- 1—2. Леон Юрис. ЭКСОДУС
3. Д-р А. И. Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арье (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е. Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6000000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А. И. Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ
10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы
в русской поэзии
11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Ахарон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У. Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И. Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. Игал Аллон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. Дневник
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917—1967)
25. Ш. Й. Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести,
главы из романов
26. Элизер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Тувия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 2
30. А. Итай и М. Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
32. С. Г. Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
33. Р. Губер. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. Географический очерк
35. Дж. и Д. Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И. Башевис-Зингер. РАБ
37. Р. Бонди. ЭНЦО СЕРЕНИ
38. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
40. Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ

41. Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
42. Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ
46. Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
47. Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
48. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
49. Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН
50. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
51. Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
52. Ахарон Мегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО
53. Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА
54. МАКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в кибуцах
55. Джон Орбах. РИКША
56. Иосеф Гедалия Клаузнер. КОГДА НАЦИЯ БОРЕТСЯ
ЗА СВОЮ СВОБОДУ
57. Исаак Бабель. ДЕТСТВО и другие рассказы
58. Проф. И.Слущкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 1
59. Проф. И.Слущкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 2
60. Андрэ Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ
61. Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ
ПЛАНЕТЕ
62. Владимир (Зеев) Жаботинский. ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
63. Мартин Бубер. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
64. Макс И. Даймонт. ЕВРЕИ, БОГ И ИСТОРИЯ
65. Сол Беллоу. ПЛАНЕТА М-РА СЭММЛЕРА
66. ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ. Сборник:
И.Кауфман. Библейская эпоха; Л.Финкелстайн.
Еврейская вера и претворение ее в жизнь; Ш.Эттингер.
Корни современного антисемитизма
67. А.Суцкевер. ЗЕЛЕНЫЙ АКВАРИУМ
68. АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. Сборник
69. СКОПУС. Антология поэзии и прозы
70. Ури Дан. ОПЕРАЦИЯ ЭНТЕББЕ
71. Моше Шамир. СВОИМИ РУКАМИ
72. Л. Коллинз и Д. Лапьер. О, ИЕРУСАЛИМ!
73. М. Новомейский. ОТ БАЙКАЛА ДО МЕРТВОГО МОРЯ
74. М. Гесс. РИМ И ИЕРУСАЛИМ
75. Ф.Кандель. ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО
76. Ф.Баазова. ПРОКАЖЕННЫЕ

77. А. Шлионский. ГОРЫ ГИЛЬБОА
78. Иехуда Бурла. ПОХОЖДЕНИЯ АКАВЬИ
79. Х. Н. Бялик и И. Х. Равницкий. АГАДА
80. ИСКУССТВО В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
81. ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ: Б. Динур. Исторические основы возрождения Израиля; С. Дубнов. Письма о старом и новом еврействе
82. ЕВРЕЙСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОЭЗИЯ В ИСПАНИИ
83. Ханох Бартов. ВЫДУМЩИК
84. Гилель Бутман. ЛЕНИНГРАД–ИЕРУСАЛИМ С ДОЛГОЙ ПЕРЕСАДКОЙ
85. Жак Дерожи. ТАЙНА СУДНА "ЭКСОДУС-1947"
86. Цивья Любеткин. В ДНИ ГИБЕЛИ И ВОССТАНИЯ
87. М. Стейнберг. ОСНОВЫ ИУДАИЗМА
88. А. Кестлер. ВОРЫ В НОЧИ
89. Я СЕБЯ ДО КОНЦА РАССКАЗАЛА. Сборник стихов
90. Ада Серени. КОРАБЛИ БЕЗ ФЛАГОВ
91. Иехуда Атлас. ХОТЬ НА ВИСЕЛИЦУ
92. М. Стейнберг. КАК СОРВАННЫЙ ЛИСТ
93. Н. Полетика. ВИДЕННОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ
94. Эли Визель. ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
95. Альбер Мемми. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРЕЯ
96. Шломо Авинери. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
97. МЫ НАЧИНАЛИ ЕЩЕ В РОССИИ. Воспоминания
98. Хаим Градэ. АГУНА (БЕЗМУЖНЯЯ ЖЕНА)
99. Луи Финкелстайн. РАББИ АКИВА
100. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 1
101. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 2
102. Муня М. Мардор. СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ
103. Феликс Розинер. СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПОЧКА
104. Владимир Лазарис. МОЯ ПЕРВАЯ ВОЙНА
105. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 1
106. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 2
107. ИВРИТ – ЯЗЫК ВОЗРОЖДЕННЫЙ. Сборник статей
108. Ахарон Аппельфельд. ПОРА ЧУДЕС
109. Гилель Бутман. ВРЕМЯ МОЛЧАТЬ И ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ
110. Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 1
111. Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 2
112. Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 1
Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 2
113. В ОТКАЗЕ. Сборник

- 114. Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКЕ. Книга 1
- 115. Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКЕ. Книга 2
- 116. Эфраим Урбах. МУДРЕЦЫ ТАЛМУДА
- 117. В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ. Сборник рассказов современных израильских писателей
- 118. Владимир (Зеев) Жаботинский. ВОСПОМИНАНИЯ
- 119. Оскар Минц. ПРИЗМЫ
- 120. Игал Аллон. ЩИТ ДАВИДА
- 121. Моше Даян. ЖИТЬ С БИБЛИЕЙ
- 122. Иерухам Кохен. ВСЕГДА В СТРОЮ. Записки израильского офицера
- 123. Исраэль Таяр. СИНАГОГА – РАЗГРОМЛЕННАЯ, НО НЕПОКОРЕННАЯ
- 124. Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 1
- 125. Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 2
- 126. Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 1
- 127. Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 2
- 128. Хаим Гвати. КИББУЦ: ТАК МЫ ЖИВЕМ
- 129. Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ. Книга 1
- 130. Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ. Книга 2
- 131. Януш Корчак. ИЗБРАННОЕ
- 132. Ашер Бараш. ИСТОРИЧЕСКИЕ НОВЕЛЛЫ
- 133. Двора Омер. СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ
- 134. Андре Неер. КЛЮЧИ К ИУДАИЗМУ
- 135. Ицхак Зив-Ав. ГОВОРЯТ, ЕСТЬ СТРАНА...
- 136. Эрбер Ле Поррьс. ВРАЧ ИЗ КОРДОВЫ

**ТРЕБУЙТЕ КНИГИ
ИЗДАТЕЛЬСТВА
"БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ"
ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ
РУССКОЙ КНИГИ**

**Наши книги можно заказать
также по адресу:
Р.О.В. 4140
91 041 Jerusalem**

ГОТОВЯТСЯ К ВЫПУСКУ:

Хаим Гвати. **КИББУЦ: ТАК МЫ ЖИВЕМ.**
Пер. с иврита.

Киббуцное движение вызывает широкий интерес во всем мире как самобытное социальное явление и уникальная попытка создания нового образа жизни. Книга Хаима Гвати рассказывает о зарождении первых киббуцов, об их становлении, о современной жизни в киббуцах. Ее автор — видный деятель киббуцного движения, бывший министр сельского хозяйства Израиля.

Двора Омер. **СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ.** Повесть.
Пер. с иврита.

Книги известной израильской писательницы Дворы Омер пользуются большой популярностью у молодежи. "Я не придумываю истории, изложенные в моих книгах, они взяты из жизни", — говорит она о себе.

Повесть "Сильнее смерти" — это история о счастливой и трагической любви Зохары и Шмулика; это рассказ о борьбе еврейского яшуву против английской мандатной власти в Палестине, об организации Палмах и ее героических борцах...